Кому нужна слепая мать
Рен Вольский
18+

Рен Вольский

Кому нужна слепая мать

«Автор»
2026

Вольский Р.

Кому нужна слепая мать / Р. Вольский — «Автор», 2026

Поздней осенью Виктор приезжает в небольшой город к ослепшей матери с папкой сведений о пансионате. Нина, которая уже ведёт хозяйство и следит за повседневными делами Марии Петровны, воспринимает предложение как угрозу дому и как возможное возвращение к роли единственной помощницы. Сергей подключается к разговору, настаивая на решении, которое не разрушит его работу и брак. Дети пробуют составить план ухода, но каждый понимает заботу как контроль над другой частью семейной жизни. Мария Петровна отказывается уезжать и говорит, что лучше умрёт в собственной квартире. После очередного спора Нина ищет документы, связанные с привычными вещами и старым имуществом, и находит бумаги на дачу, о которой дети пока говорят как о неразрешённом общем вопросе.

© Вольский Р., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Мокрая куртка 5
Голос за дверью 13
Папка на клеёнке 21
Лучше умереть дома 29
Звонок Сергею 40
Каша остывает 48
Порядок вещей 57
Сергей входит без подарка 65
Конец ознакомительного фрагмента. 66

Рен Вольский
Кому нужна слепая мать

Мокрая куртка

Автобус из областного города приходил в шесть сорок, и мокрый асфальт у рынка держал на себе отражение единственного фонаря. Вверх по улице Калинина правая штанина набирала воду с каждого шага: водостоки на этом тротуаре положили когда-то с обратным уклоном, и за сорок лет никто не переложил. Под ботинком хрустнул лёд — тонкий, с воздухом внутри, звук лопнувшей лампочки.

Третий подъезд. Домофон висел на одном винте, трубка болталась. Дверь открылась сама, от плеча.

На площадке второго этажа пахло подгоревшим молоком и мокрой штукатуркой. За дверью с коричневым дермантином работало радио — та самая волна, которая передаёт прогноз погоды дважды в час, с тех лет, когда у матери ещё был телевизор.

Ключ лёг в руку холодным ребром, поднялся к замку и остановился на полпути. Пальцы нашли кнопку звонка.

Шаги за дверью были быстрые, в тапках без задников: шлёп-шлёп, остановка у коврика.

— Кто?

— Я, Нина.

Два поворота, цепочка, щелчок. Сестра стояла в переднике, с ложкой в опущенной руке, и с ложки на линолеум упала капля.

— Ты что звонишь-то. У тебя ключ.

— Чтобы она слышала, что кто-то пришёл.

Взгляд Нины прошёл по его ботинкам, потом по луже под ними, потом по её собственным тапкам.

— Разувайся тут. Дальше не наступай, я вчера мыла.

Куртка на вешалке сразу потяжелела и начала капать на обувную полку. Виктор стянул шарф, повесил его поверх куртки, провёл рукой по мокрым волосам — и вода ушла за воротник узкой холодной нитью вниз, между лопаток. Потом вынул из сумки папку — серую, картонную, с резинками — и положил её на стол, на клеёнку с выцветшими яблоками. На клеёнке у середины было жжёное пятно от кастрюли, и папка легла точно на него, прикрыв. Углы её размокли.

Из комнаты раздался голос, не громкий, направленный куда-то в сторону кухни:

— Нина, это Витя?

— Он, мама.

— По шагам слышу. Сначала с левой тяжелее, потом подволакивает. Витя?

Матрас скрипнул одной пружиной. Потом — скрип кресла.

Коридор был длиной в четыре шага. В прошлый приезд их было четыре. Теперь он прошёлся в три и упёрся коленом в табурет, которого раньше у двери комнаты не стояло.

На табурете лежала сложенная вчетверо газета и стоял стакан с водой, прикрытый блюдцем.

— Это я поставила, — сказала Нина у него за спиной. — Чтоб она ночью до кухни не ходила.

Мария Петровна сидела в кресле у окна, спиной к серому прямоугольнику двора. Руки у неё лежали на коленях, на вязаном пледе, и правая медленно, туда-обратно, перебирала обвязку по краю — палец за палец, счёт белья в прачечной. Глаза были открыты и смотрели

в сторону шкафа, чуть выше его середины. Левый мутный, с голубоватым кольцом вокруг зрачка, правый тёмный, спокойный. Ни один из них не повернулся на шаги.

— Это ты, Витя?

— Я, мама.

Пальцы на пледе остановились.

— Почему так долго не приезжал?

Воздух в комнате был плотный, нагретый, с запахом сердечных капель, старой шерсти и клеёнки. Радиатор под окном гудел на одной ноте. На подоконнике, в стеклянной банке, стояли три сухих ветки физалиса, и один из его оранжевых фонариков лежал рядом, сплющенный.

— В октябре не вышло. У Лены операция была, плановая, на колене. Потом у меня отчётный период.

— Отчётный период, — повторила мать. Она сказала это ровно, без нажима, и слово в её рту стало длинным и ненужным — инструкция от прибора, который давно выбросили.

Край дивана принял его вес и просел с правой стороны сильнее: сломана задняя ножка, подложен кирпич, обёрнутый в полотенце. Дерево под обивкой жаловалось при каждом движении.

Рука матери поднялась и легла в воздух — ладонью вверх, на уровне груди, в пустоту между ними. Повисла там.

Он наклонился и вложил в неё свои пальцы.

Ладонь у неё была сухая и тёплая, с тонкой кожей, которая двигалась по костяшкам отдельно от костяшек. Она держала не крепко. Она ощупывала: большим пальцем по его ногтю, потом по тыльной стороне кисти, потом по мозоли у основания большого пальца, потом по ободку обручального кольца. Сантиметр за сантиметром. Инвентаризация.

— Руки холодные, — сказала она. — Пешком шёл?

— С автовокзала.

— От вокзала двадцать минут. Через рынок, там короче, но плитка битая.

— Через рынок и шёл.

— Ботинки сними, — сказала она. — Сиди в носках.

— Снял уже.

— Снял. — Рука отпустила его и вернулась на плед. — Тогда сиди.

На кухне загремела крышка. Вода пошла и смолкла. Шипение под кастрюлей сменилось глухим бульканьем — каша взялась.

За окном, между рамами, лежал старый слой ваты, пожелтевший, и к нему прилипли два сухих мотылька, ещё августовских. Снаружи во дворе дворник сгребал мокрые листья в кучу — не сметал, а продвигал по асфальту пластами, со скрежетом.

— У тебя в подъезде домофон не работает.

— Он три года не работает.

— Так кто угодно войдёт.

— Кто угодно уже сорок лет входит, — сказала Мария Петровна. — Ко мне приходили. Я слышала. Остановились у двери, постояли и ушли выше, к Валиным. У них там каждую пятницу.

— И ты одна. С незапертой дверью.

— Дверь запертая. — Палец снова пошёл по обвязке пледа. — Витя, ты сел на край и говоришь в сторону. Повернись ко мне, когда говоришь. Я не вижу, куда у тебя лицо.

Плечи развернулись к ней. Проверить это она не могла.

— Вот так лучше, — сказала она.

Нина принесла из кухни две табуретки, одну поставила у кресла, на вторую положила кухонное полотенце и поставила тарелку. Движения у неё были короткие и сцеплённые: тарелка, ложка, салфетка под ложку, край полотенца подвернут, чтобы не свисал.

— Мама, каша. Овсяная на воде, с маслом. Ложку я кладу справа от тарелки, черенок к тебе. Тарелка горячая снизу, за край не бери, бери за бортик.

— Я знаю, Нина.

— Знаешь, а третьего дня взяла.

— Третьего дня ты её на другое место поставила.

Нина выпрямилась, переложила полотенце на другое плечо и посмотрела на брата сверху, через всю комнату.

— Ты есть будешь?

— Потом.

— Потом не будет. Потом я уйду в собес, у меня там в десять по справке.

— Я не за кашей приехал.

Слова вышли резче, чем он их складывал в автобусе. Сестра медленно нагнулась, подняла с линолеума крошку — одну, засохшую — и зажала её в кулаке.

— А за чем? — спросила Нина.

Мать нашла ложку. Она делала это иначе, чем делают зрячие: сначала ребром ладони прошла по табуретке от себя к себе, нащупала черенок, обвела тарелку кончиками пальцев по краю, проверила, где бортик, и только потом набрала. Половину ложки. На губы попало немного масла, и она тут же стёрла его согнутым указательным — не промахнувшись.

Сумка так и лежала у него на коленях, пока он на это смотрел.

За спиной у него, в сервант, Нина вернула на место солонку, и стекло звякнуло о стекло.

— Сначала доешь, — сказала Нина в сторону матери. И уже брату, тише, одними губами, бесполезно: — При ней не надо.

— При ней — надо.

— Витя.

— При мне что надо? — Мария Петровна положила ложку поперёк тарелки. Движение было точное, и ложка легла ровно. — У меня уши работают лучше, чем у вас обоих. Нина, ты встала у буфета и мотаешь головой. Ты всегда у буфета мотаешь головой, половица там отвечает.

Нина посмотрела себе под ноги. Половица под её правой тапкой была чуть просевшая, с чёрной щелью по шву.

— Я не мотаю.

— Витя. Ты приехал первым автобусом из области, в ноябре, с мокрыми руками и в носках, и сидишь с чем-то на коленях. У тебя там шуршит. Это не продукты. Продукты шуршат по-другому.

Пустая сумка лежала у него на коленях, из плотной клеёнчатой ткани, и шуршала о брюки при каждом вдохе.

Сумка сошла с колен на пол. Резинки пошли с углов папки — одна соскочила и упала в пыльную полосу у дивана.

— Мам, — сказал Виктор. — Я нашёл место.

Радиатор гудел. Во дворе дворник доскрёб свой пласт листьев и бросил лопату на асфальт — плоский металлический хлопок, от которого в серванте снова отозвалось стекло.

— Какое место, — сказала Мария Петровна. Без вопросительного знака.

— Пансионат. Под Клинцами, двадцать два километра от моего города. Не государственный. Там два корпуса, отопление своё, не зависит от городской котельной. Комнаты на одного и на двоих. Медсестра дежурит круглосуточно, не приходящая, а в смене. Еду готовят на месте, диетический стол есть. Я туда ездил. Сам. Четырнадцатого.

— Четырнадцатого, — сказала мать. — Это до или после отчётного периода?

Нина отступила на шаг от буфета, половица под ней отпустила звук.

— Ты ездил четырнадцатого и позвонил мне девятнадцатого про лекарства.

— Я не был уверен.

— В чём ты не был уверен? В том, что место хорошее, или в том, что скажешь мне?

Резинки легли на стол параллельно друг другу. Пальцы делали это аккуратно, сами. На тыльной стороне кисти, где мать ощупывала мозоль, кожа ещё держала тепло её ладони.

— В том, что потяну по деньгам, — сказал он. — Тридцать восемь за месяц. Пенсию они берут в зачёт, остаётся разница.

— Тридцать восемь, — сказала Нина.

— Да.

— У меня зарплата двадцать девять.

— Я не прошу тебя платить.

— Ты и не спрашивал меня ни о чём. — Нина говорила тихо, ровным кухонным голосом, которым перечисляют, что надо купить. — Я в семь утра здесь. В семь вечера здесь. Я ей ногти стригу, я ей капли капаю в восемь и в двадцать, я у неё пол мою два раза в неделю, потому что если один — она на крошке поедет. Я два раза в месяц к ней Валю прошу посидеть, и Вале я за это пирожки пеку, потому что деньгами она не берёт, обижается. А ты съездил четырнадцатого в хороший пансионат.

— Я для этого и съездил.

— Для чего?

— Чтобы она не умирала тут одна за запертой дверью, пока мы с тобой считаем, кто сколько ногтей постриг.

Ложка в тарелке дрогнула. Мать её не трогала; дрогнул табурет, потому что Мария Петровна положила на него руку.

— Витя, — сказала она. — Передвинь стакан. Он у меня справа, а ты туда локтем лезешь.

Локоть лежал на спинке дивана, в полуметре от стакана. Виктор посмотрел на табурет, потом всё равно протянул руку и сдвинул стакан на три сантиметра влево. Стекло проехало по лаку с тонким скрипом.

— Сдвинул.

— Вот и хорошо, — сказала она. — А теперь скажи мне про комнату. Она какая?

— Светлая. Окно на юг, туда клён растёт.

Пальцы матери сошлись в щепоть и потёрли край пледа.

— Про клён мне зачем.

Рот открылся и закрылся, без звука.

На кухне закипел чайник — старый, с потёртым дном, который не свистел, а начинал дрожать и стучать о решётку.

Нина пошла снимать. В коридоре она задела ногой табурет с газетой, и газета съехала на пол, развернувшись.

— Мама, у тебя тут стакан стоял, я его в комнату отнесла, на твой табурет справа.

— Он там.

— А газета упала, я её на место.

— Не на место. Сложи вчетверо и положи сгибом к двери. Я по сгибу нахожу.

Нина присела и сложила газету. Сгибом к двери.

Сестра так и осталась на корточках в переднике, и в её затылке, у самого пробора, шла седая полоса, которой в прошлом году не было.

— Я не говорю, что ты плохо смотришь, — сказал он.

— Ты вообще про меня ничего не говоришь. Ты говоришь: двадцать два километра от моего города.

— Да. От моего. Потому что оттуда я приезжаю за двадцать минут, а не за семь часов с пересадкой.

— Ага, — сказала Нина, вставая. — Удобно.

— Нина.

— Удобно же, Витя. Всё правильно. Там тепло, там медсестра в смене, там клён. Там только одного нет.

— Чего.

— Этого.

Рука её пошла по воздуху коротким полукругом, не выше плеча. Стол с клеёнкой. Сервант с тремя гранёными стаканами и одной чашкой без ручки, которую мать не разрешала выбросить. Кресло. Радиатор. Банка с физалисом. Половица у буфета, которая отвечает. Табурет с газетой, сложенной сгибом к двери.

Мария Петровна сидела и перебирала обвязку, палец за палец.

— Нина, — сказала она. — Ты рукой махнула?

— Махнула, мама.

— Я по воздуху слышала. — Мать помолчала. — Витя. А если я ночью встану, у них там что, до стены сколько?

— Не знаю, — сказал Виктор. — Я не мерил.

— А тут от кровати до стены полтора моих шага, и на стене выключатель, которым я не пользуюсь. А дальше угол шкафа. Угол у меня обмотан, Нина обмотала, тряпкой и скотчем. Я его рукой нахожу и по нему поворачиваю. Потом три шага до двери, в двери порожек, он на половину ладони. Потом коридор, он пахнет обувью. Потом кухня, она пахнет газом, даже когда газ не горит, он там в полу живёт с семьдесят восьмого года. Я до уборной дохожу за сорок секунд. Я считала.

— Ты ночью вставала? — быстро сказала Нина. — Ты мне не говорила, что ты одна ночью вставала.

— Я не каждую ночь. — Мария Петровна повернула голову к Виктору — чуть мимо, в сторону его левого плеча, на полладони мимо. — А там я за сколько дойду?

Папка поехала к ней по клеёнке с сухим шорохом картона.

— Там тебе не надо будет доходить одной. Там кнопка. Нажимаешь — приходят.

— Кто приходит?

— Медсестра.

— Как её зовут?

— Мам.

— Я спрашиваю, как её зовут. — Голос у матери не поднялся, но стал сухим и ровным, как половица без ковра. — Если я ночью нажму кнопку, и ко мне в темноту войдёт человек и возьмёт меня за руку, я хочу знать, как его зовут, пока он идёт.

Ладонь легла на папку сверху. Под ладонью подался размокший картонный угол.

— Там две смены. Я видел одну. Женщину зовут Галина Ивановна. Ей лет пятьдесят пять. Она при мне поднимала мужчину с кровати в коляску, и она его сначала предупредила.

— Как предупредила?

— Сказала: Пётр Семёнович, я беру вас под правую. И подождала.

— И он что?

— Сказал: берите.

Мать убрала руки с пледа и положила их на подлокотники. Кисти легли ровно, симметрично, пальцы вниз по изгибу дерева. В таком положении она сидела, когда к ней приходили из поликлиники.

— Это ты хорошо запомнил, — сказала она.

— Я специально смотрел.

— Специально он смотрел, — сказала Нина в сторону окна.

— А ты бы что смотрела? Ковёр?

— Я бы спросила, сколько у них лежачих на одну эту Галину Ивановну. Двадцать? Тридцать? Ночью одна в корпусе?

— Четырнадцать.

— На всю ночь четырнадцать человек с кнопками, — сказала Нина. — Хорошо. Одна нажала — пришли. Три нажали — к кому?

Папка лежала между ними. Жжёного пятна на клеёнке под ней не было видно.

Под большим ногтем темнела полоска — вчера менял сайлентблок, не домыл. Кулаки сжались, и в правом запястье отозвалось старое, с сухим мелким щелчком где-то в косточке.

— Я не могу больше так, — сказал он. — Третьего числа мне Валя позвонила. В половине десятого вечера. Говорит: Витя, у вашей мамы за дверью вода льётся долго. Я с ней двадцать минут по телефону, она ходит, стучит, слушает. Потом мама подошла. Кран. Просто кран.

— Я его потом подтянула, — сказала Нина.

— Я не про кран. Я про те двадцать минут. Я стоял у себя в коридоре в одном носке с телефоном и считал, за сколько доеду, если прямо сейчас выйду.

— И за сколько?

— За семь часов. Если есть автобус. Ночью нет автобуса.

Радиатор щёлкнул и перешёл на другую ноту, выше. Во дворе кто-то тащил санки по мокрому асфальту — без снега, просто тащил, железом по камню.

Мария Петровна слушала этот звук, повернув голову к окну.

— Валя мне про твой звонок не говорила, — сказала она.

— Я просил не говорить.

— Зачем?

— Чтобы ты не пугалась.

— А я теперь не пугаюсь? — Она опять нашла плед и взялась за обвязку. — Витя. Ты мне сейчас что принёс? Место или испуг свой?

Молчание держалось долго, под стук железа во дворе.

— Потому что про место ты говоришь: двадцать два километра, тридцать восемь тысяч, Галина Ивановна, клён на юг. Это ты хорошо говоришь. А потом про один носок в коридоре. И вот это ты говоришь по-другому. Это у тебя главное.

Нина стояла у буфета и не двигалась, и половица под ней ничего не отвечала.

Рука прошла по лицу снизу вверх. Щетина, двое суток не бритая, отозвалась под ладонью шорохом, и этот шорох был громче радиатора.

— Да, — сказал он. — Это главное.

— Вот, — сказала мать. — Теперь я тебя слышу.

Нина отошла от буфета, взяла с табуретки тарелку с недоеденной кашей и понесла на кухню. На пороге она остановилась.

— Мама, кашу греть?

— Нет.

— Она остыла.

— Нина. Поставь тарелку и сядь. Ты стоишь третий час.

— Я сижу вечером.

— Ты вечером штопаешь.

Тарелка встала на угол стола — рядом с папкой, почти касаясь её. Масло на остывшей каше свернулось в неровное жёлтое пятно и застыло.

Она не села. Стул она развернула к столу, легла руками на спинку и осталась стоять за ним.

— Я не отдам её туда, — сказала Нина.

— Это не ты решаешь, — сказал Виктор.

— А ты?

— И не я.

Сестра подняла голову.

— Вот как.

— Я привёз бумаги. Я не привёз решение. Там надо заявление от неё самой, с её подписью, если она дееспособная. А она дееспособная.

— Я дееспособная, — сказала Мария Петровна. — Я на прошлой неделе Нине пенсию сама считала. В уме. И сошлось.

— Сошлось, мама.

— Сошлось, — повторила она. — Вот. Витя, подай мне эту твою папку.

Руки его остались на коленях.

— Там печатное, — сказал он. — Там мелким.

— Я знаю, что там печатное. Подай.

Нина отступила от стула на шаг. Диван жалобно выпустил его, и папка пошла через комнату в двух руках, плашмя.

Ладони матери поднялись навстречу, и картон лёг в них широкой стороной. Руки осели — не от веса, в папке было полкилограмма, — осели потому, что она переложила её себе на колени, на плед, и расправила сверху обе ладони.

Дальше пошло то же, что с его рукой. Большой палец по кромке. По углу — размокшему, мягкому, вдавленному. По пружине скоросшивателя внутри, через картон. По наклейке ногтем, туда и обратно, по буквам, которые не читались ничем.

— Тут у тебя уголок мокрый, — сказала она.

— Дождь.

— Дождь. — Палец ещё раз прошёл по углу. — Ты её под куртку не сунул?

— В сумку.

— Сумка тоже мокрая была?

— Была.

— Так в следующий раз под куртку, — сказала Мария Петровна. — К животу, и рукой держи.

Ладони сошли с папки и легли рядом, на плед. Папка осталась у неё на коленях. За её плечом на подоконнике висел сплющенный оранжевый фонарик физалиса и серый прямоугольник двора, где дворник уже уходил с лопатой на плече, и с лопаты у него капало.

Нина смотрела на эту папку на коленях матери. Чужой человек, которого пустили в дом и посадили на лучшее место.

— Мама, давай я её положу, — сказала она.

— Положи на стол.

— Я в шкаф положу.

— На стол, Нина.

Шаги её дошли до кресла. Папку она сняла с колен матери снизу, двумя руками — поднос с полными стаканами. Понесла.

Клеёнка приняла её в середину, на то самое жжёное пятно. Тарелка с остывшей кашей отодвинулась вправо. Солонка влево. Папка легла ровно, между тремя стульями, из которых занят был один.

Резинки так и лежали на столе, параллельно друг другу, и одна у самого края.

— Я в собес, — сказала Нина, не поднимая глаз от стола. — К десяти. Я вернусь в час.

— Иди, — сказала мать.

— Витя посидит.

— Витя посидит.

Передник ушёл с неё и повис на гвозде у двери. Пальто застегнулось снизу вверх, и в кармане звякнули ключи — две связки на одном кольце, своя и материна.

Уже из прихожей она сказала в комнату:

— Капли в восемь закапали. Следующие в двадцать. Пузырёк на окне, слева от банки. Не переставляй.

— Не переставлю, — сказал Виктор.

Дверь закрылась. Два поворота — изнутри их не было, она закрывала своим ключом снаружи, и замок отщёлкнул дважды, с лестницы.

Шаги пошли вниз. На площадке первого этажа они встали, постояли несколько секунд и пошли дальше.

Голова матери повернулась к двери, и эту остановку она выслушала до конца.

Потом рука её пошла к стакану, который он сдвинул на три сантиметра. Нашла сразу.

— Витя.

— Да, мам.

— Сядь на тот стул, который к столу. Не на диван. Диван у нас на кирпиче, ты в него провалишься и будешь сидеть ниже меня.

Венский стул под ним не дал ни звука, только подклеенная перекладина тронула пятку. До папки оставалось полметра. На наклейке читалось: «Отделение № 2. Условия и перечень услуг». Чернила в правом углу расплылись, и цифра стоимости растеклась в синее облачко.

— Ты мне её вечером почитаешь, — сказала Мария Петровна. — Когда Нина придёт. Всю, по пунктам. И что мелким внизу — тоже.

— Почитаю.

— И я тебе тогда скажу.

— Что скажешь?

Пальцы её нашли край пледа и пошли по обвязке, палец за палец, туда-обратно.

— Скажу, что я за эти двадцать минут, пока Валя за дверью стучала, тоже кое-что посчитала, — сказала она. — А ты один в коридоре стоял, в одном носке, и считал минуты, и не знал, что тебе делать.

Радиатор под окном гудел на одной ноте. В банке на подоконнике сухо тронулась ветка физалиса — сквозняк из рамы, где вата пожелтела и держала на себе двух августовских мотыльков.

Папка лежала на яблоках клеёнки, между ними, и мокрый угол её медленно отдавал влагу в картон.

Голос за дверью

Дверь закрылась, и в квартире остались два звука: радиатор под окном и ложка, которую Мария Петровна положила поперёк тарелки ещё полчаса назад.

— Витя.

— Я тут.

— Ты на диване или уже на стуле?

— На стуле.

— На том, который к столу?

— На том.

Венский стул держал вес без скрипа, только подклеенная перекладина упиралась в пятку сквозь носок. Носок был сырой с утра и за полтора часа отдал влагу в лак перекладины, и лак там стал тёмным.

— А почему я тебя не слышала, как ты садился?

— Я пересел, когда Нина уходила. Под её шаги.

Пальцы матери сошли с подлокотника и легли на край пледа.

— Так не надо, — сказала она. — Под чужой звук не садись. Я потом тебя ищу.

Во дворе под окном стояла пустая лопата дворника, прислонённая к стволу, и с черенка капало на мокрый асфальт раз в три-четыре секунды. Эти капли были слышны в комнате — рама старая, вата между стёклами пожелтела и не держала ничего, кроме двух августовских мотыльков.

— Я тебе теперь всё буду говорить, — сказал Виктор. — Встаю, сажусь.

— Не всё. Ты мне говори, когда уходишь из комнаты. И когда возвращаешься. Середину я сама слышу.

Радиатор щёлкнул и перешёл на верхнюю ноту.

Пустая тарелка с застывшим жёлтым пятном масла стояла на табуретке у кресла. Рядом — стакан, прикрытый блюдцем, сдвинутый утром на три сантиметра влево и оставленный там.

— Посуду убрать?

— Убери. Тарелку возьми, ложку не трогай.

— Почему?

— Потому что ложка моя, она при мне лежит. Нина придёт, она её с тарелкой заберёт.

Тарелка пошла на кухню. Линолеум в коридоре был вымыт вчера и держал на себе одну засохшую крошку, которую Нина утром зажала в кулаке, и никаких других.

На кухне у окна стояла кастрюля с остатком каши, накрытая той же крышкой, которая гремела в семь. Над раковиной висело полотенце, вафельное, сложенное вдвое, сгибом к стене. Рядом второе, сложенное вдвое, сгибом к стене. Третье — так же.

Тарелка легла в раковину.

— Витя, ты воду откроешь?

Голос прошёл через коридор без усилия, ровно.

— Открою.

— Открывай сразу горячую. Там вентиль вправо туго идёт, его подтянули, и он теперь срывается.

Вентиль действительно шёл туго и на половине оборота сорвался, и кипяток ударил в тарелку и дал брызги до подоконника. Пар сел на тыльную сторону кисти и остался там коротким жжением под костяшками.

— Сорвался?

— Сорвался, мама.

— Вот.

Полотенце с гвоздя — по мокрому подоконнику, по белой краске, где под слоем проступала старая зелёная, по чугунной батарее под окном, сверху донизу. Полотенце вернулось на гвоздь, сложенное вдвое, сгибом к стене. Края не сошлись, и один угол висел ниже другого на палец.

Вернувшись в комнату, он объявил себя с порога:

— Я вошёл.

— Слышу. Садись.

Стул оказался не там, где был оставлен. За две минуты он не двигался сам; двигался тот, кто вставал с него, и съехал он к серванту, в полуметре от прежнего места.

Стул поехал обратно. Задние ножки прошли по линолеуму с двойным глухим стуком через шов половицы.

Голова матери повернулась к этому звуку, и шея у неё под подбородком натянулась двумя жилами.

— Что ты сейчас сделал?

— Стул придвинул.

— Куда?

— К столу. Где он стоял.

— Где он стоял — я тебе не говорила. — Рука её поднялась и пошла в воздухе влево, к столу, и остановилась, не дойдя. — Витя. Ты его на два стука передвинул. А он от стола до серванта на четыре. Ты его посередине оставил.

Половина оборота, и ножки опять прошли по шву, два стука и ещё два.

— Теперь четыре, — сказала она. — Теперь он у стола. Сядь и больше не трогай. Вечером Нина пол будет мыть, она его отодвинет и поставит назад, и это у нас с ней отработано, она ножкой обратно в след ставит, там в линолеуме вмятины.

Под передними ножками в линолеуме стояли две круглые вмятины, серые от въевшейся пыли, и ножки в них входили точно.

— Я не знал про вмятины.

— Ты много про что не знал.

Дыхание её выровнялось не сразу. Левая рука легла на подлокотник, правая пошла по обвязке пледа, палец за палец, туда и обратно, и этот счёт шёл быстрее, чем утром.

Банка с физалисом на подоконнике стояла слева от пузырька с каплями. Сплющенный оранжевый фонарик лежал между ними, и один его край был отломан.

— Мам. Я вот сейчас хочу понять. Ты до уборной доходишь за сорок секунд.

— Дохожу.

— А если я сейчас эту табуретку с газетой отодвину на полметра — за сколько?

— Не отодвигай.

— Я не отодвигаю. Я спрашиваю.

Правая рука остановилась на обвязке.

— Я её найду, — сказала Мария Петровна. — Коленом. И буду полчаса сидеть и думать, кто её туда поставил и что ещё он поставил.

— Полчаса.

— Полчаса, Витя. Потому что если табуретка уехала, то, может, и стакан уехал. И тогда я к стакану руку протяну в пустое место, и это у меня до вечера в руке останется.

Радиатор стучал. Во дворе кто-то провёз детскую коляску по плитке, и плитка у второго подъезда отзывалась на каждый стык.

На ладони у него, у основания большого пальца, лежала мозоль, которую мать утром инвентаризовала, и под ногтем темнела полоска от вчерашнего сайлентблока. Кулак сжался и отпустил. В правом запястье отозвалось сухим мелким щелчком.

— Мам.

— Что.

— А ты в прошлый мой приезд за сорок секунд доходила? Или за двадцать?

Молчание держалось долго, под стук плитки во дворе.

— В прошлый твой приезд я ещё свет различала, — сказала она. — Окно от стены. Я его утром находила и от него считала.

— А теперь?

— А теперь я от половицы считаю.

Половица у буфета была чуть просевшая, с чёрной щелью по шву, и под ногой отзывалась коротким скрипом с провалом в середине.

— От этой?

— Нет. Та отвечает, когда на неё с кухни заходят. Я от другой считаю, у кровати. На ней шов поперёк.

Три с половиной шага до кровати. Шов нашёлся под ковриком, через ткань, твёрдой поперечной линией.

— Ты на неё встал.

— Встал.

— Сойди. Ты её своим весом по-другому ведёшь, у тебя восемьдесят с лишним, она у тебя глубже проваливается. Мне потом будет казаться, что она просела.

Стул принял его обратно. Ножки сели в свои вмятины, передняя левая — сразу, передняя правая — после короткого шарканья.

В серванте стояли три гранёных стакана и чашка без ручки. На полке ниже — сахарница с отбитым краем крышки, повёрнутая отбитым к стене.

Часы над дверью были без стрелок, со стёкла снята рама. Внутри, на циферблате, лежала скрученная резинка.

— Мам, часы когда встали?

— Весной.

— Нина не меняла батарейку?

— Я не просила. Я по радио время беру. Там в начале каждого часа.

За дверью с коричневым дермантином на площадке работало радио у соседей, и сквозь две двери от него доходил только ровный мужской гул без слов.

Виктор повернул кисть к свету: на его часах было двенадцать и семь минут. До начала часа, когда диктор назовёт время, оставалось меньше часа.

— Витя.

— Да.

— Ты папку мою вечером почитаешь.

— Почитаю.

— Всю.

— Всю.

— А до вечера ты тут сиди и ничего не трогай. — Она помолчала. — И не ходи за мной, когда я встану.

— Ты встанешь?

— Я каждый час встаю. Мне сидеть нельзя долго, у меня ноги затекают и потом не слушаются.

Кресло отдало её вес с длинным скрипом по всей раме. Плед соскользнул с колен и лёг на сиденье, половиной на подлокотник.

Подъём занял у неё семь секунд. Сначала обе ладони на подлокотники, потом перенос вперёд, потом пауза с опущенной головой, потом вверх.

Ладонь её нашла спинку кресла и пошла по ней к стене.

— Я до кухни и назад.

— Я с тобой.

— Сиди.

Три шага до угла шкафа. Угол был обмотан тряпкой и скотчем, скотч местами отошёл и свисал серыми языками. Ладонь легла на обмотку, большой палец ушёл за угол, и на этом пальце она повернула себя к двери.

Порожек в двери — на половину ладони. Нога пошла к нему носком, нащупала, поднялась, встала за ним.

Коридор. Левая рука по стене, по обоям с проступившей серой полосой на уровне бедра — вытертой до основы, длиной во весь коридор.

На полпути её правая нога встретила табурет с газетой. Не коленом: носок мягко нащупал ножку, с нажимом, пробуя дно.

— Стоит, — сказала она. — Хорошо.

Кухня пахла остывшей плитой, пригорелым молоком на эмали — тем самым запахом, который там с семьдесят восьмого. Мария Петровна дошла до раковины, провела рукой по краю, нашла полотенце на гвозде, взяла его за угол и перевесила.

Полотенце легло сгибом к стене, и углы у него сошлись.

Дорога назад заняла больше. У порожка она остановилась и стояла шесть или семь секунд, держась за наличник.

— Витя, ты где сидишь?

— На стуле. У стола.

— Скажи ещё что-нибудь.

— Я на стуле у стола, мам. Левее тебя, если от двери.

— Вот теперь вижу, — сказала она и пошла к креслу.

Плед лежал на сиденье неправильно, половиной на подлокотнике. Руки её прошли по сиденью, собрали плед, сложили на весу вдвое и расправили на коленях уже сидя — сначала по правой, потом по левой.

Запястье у неё с внутренней стороны было в двух местах тёмное, по-старчески, с размытыми краями, и одно из этих пятен шло вокруг кости.

— Это что?

— Что.

— На руке. Синяк.

— Это тумбочка.

— Какая тумбочка?

— Которая у кровати. У неё угол.

— Когда?

— Во вторник.

— Нина знает?

— Нина мне на него троксевазин мазала, — сказала Мария Петровна. — Два дня. И обмотать хотела, как шкаф, а я не дала. Я тогда угол перестану находить.

В двенадцать двенадцать ключ вошёл в замок снаружи. Два поворота, цепочка не ставилась, дверь пошла и задела обувную полку — ту, с которой капало утром и которая теперь была насухо вытерта.

— Мама, я пришла! — крикнула Нина из прихожей, ещё не разувшись. — Я в прихожей, разуваюсь!

— Слышу.

Тапки без задников прошлёпали до комнаты и встали на пороге, у самой половицы.

Пальто повисло там же, за дверью, на втором гвозде. Передник вернулся через голову, завязки сошлись за спиной одним движением, без поиска.

Взгляд её прошёл по комнате и остановился на стуле.

— Ты на нём сидел?

— Сидел.

— Он в следах?

— В следах.

На корточках у стула, лицом к передним ножкам: одна стояла в вмятине ободом, вторая — краем, на миллиметр мимо.

Два пальца подвинули ножку. Та села.

— В собесе что? — спросил Виктор.

— Ничего. Справку по инвалидности переоформляют, там первая группа по зрению, им нужна выписка из стационара, а стационар был в областной, значит, я туда еду. Не сегодня. — Передник подтянулся на поясе, и Нина повернулась к матери. — Мама, капли в двадцать, я буду. Я тебе сейчас суп, картошку я утром начистила, она в воде.

— Я не хочу суп.

— Ты утром кашу не доела.

— Я половину съела.

— Ты три ложки съела, я тарелку видела.

Тарелка стояла в раковине, вымытая, вверх дном, в стопке из одной.

На кухне Нина встала так, что от стола через открытую дверь виднелись спина, плечо, передник — и под передником левая рука, вцепившаяся в край столешницы.

Секунд двадцать там ничего не двигалось.

Потом открылся ящик, и начался нож по доске.

— Витя, иди сюда, — позвала она. — Мама, я Витю на кухню беру на пять минут.

— Берите.

Кухня была два шага в ширину. Доска, картошка, кастрюля, табурет у двери. Нина говорила под нож, не поднимая головы, тем же ровным кухонным голосом, которым перечисляют, что надо купить.

— Я тебе сейчас скажу, а ты не перебивай, потому что я один раз скажу.

— Говори.

— У неё в квартире всё посчитано. Не мной — ей. Я только поддерживаю. Половицы, порожки, углы, шов на половице у кровати, газета сгибом к двери, стакан справа на табуретке, вентиль горячий срывается, я его подтянула, и она это запомнила. Угол шкафа обмотан. Вот это — всё. Больше там ничего нет. И вот это «всё» работает только если никто ничего не двигает.

— Я стул подвинул.

— Я видела.

— Она меня поймала по стуку.

— Она меня тоже ловит. — Нож дошёл до конца картошки и пошёл по следующей. — Я в прошлом месяце коврик в коридоре переложила, он загибался, и она об него два раза задела. Я его на двадцать сантиметров к стене переложила. И она в тот день до уборной не пошла. Не пошла, Витя. Она терпела до меня.

Нож остановился.

— Она мне этого не сказала. Я сама поняла, потому что я в семь пришла и она сидела в кресле и у неё лицо было белое.

Вода пошла в кастрюлю. Струя била в донце и выворачивалась через край, а Нина держала кастрюлю под ней и смотрела на воду.

— Теперь я коврик не трогаю. И никто не трогает.

— Нина.

— Что.

— У неё синяк на руке. От тумбочки. Вторник.

Кастрюля встала на плиту. Спичка — со второго раза; газ взялся с хлопком, коротко дал серой и пошёл ровным синим. Нина убавила венчик, подержала ладонь над конфоркой, проверила, что пламя держится по всему кругу, и серой больше не пахло — только разогретой эмалью.

— Я знаю. Я мазала.

— Ты мне не сказала.

— Я тебе про ногти не говорю и про клизму не говорю, — сказала Нина. — Ты бы про синяк услышал и сразу в свои Клинцы позвонил. Ты вот и позвонил, четырнадцатого.

— Я четырнадцатого ездил.

— Ты ездил. — Руки пошли о передник, двумя короткими движениями, которыми снимают с ладоней приставшее. — А я тут во вторник в полвосьмого вечера мазала и в одиннадцать ещё раз, и домой пошла в полдвенадцатого, и у меня своя квартира в двух кварталах, и там у меня стоит нестиранное с воскресенья.

Из комнаты раздался голос:

— Нина.

— Да, мама.

— Вы там про меня.

— Мы про суп.

— Вы про меня, — сказала Мария Петровна. — Ты на кухне про суп громче говоришь. А сейчас вы тихо.

Нина пошла в комнату. Виктор — за ней.

— Мы вошли, — сказал он с порога. — Оба.

— Хорошо, что предупредил. — Голова матери повернулась к нему, и глаза её остановились чуть мимо, левее плеча. — А теперь садитесь оба и говорите при мне.

Передник прошёл шорохом по спинке стула; стул развернулся к креслу, но Нина осталась стоять за ним, положив руки на спинку, тем же хватом, что и в семь утра.

— Мама, тут нечего говорить.

— Тут вы два часа говорите, — сказала Мария Петровна. — Витя мне с семи утра говорит «она», и ты мне говоришь «она». Я тут сижу. Я «она» или я мать?

— Мама.

— Нет, ты скажи. Ты в собес ходила, ты мои справки носишь, ты мне ногти стрижёшь. А говоришь ты про меня в сторону кухни. Вот эта стена, — рука поднялась и пошла назад, через плечо, к буфету, — ей вы оба говорите. Не мне.

Тишина. Радиатор. Капля с черенка лопаты во дворе.

— Я поняла, — сказала Нина.

— Ты не поняла. Ты сейчас мне согласилась, чтобы я перестала.

Ладонь на спинке стула сжалась, и дерево скрипнуло в стыке.

— Хорошо, — сказала она. — Говорю тебе. Мама, у тебя синяк от тумбочки, потому что ты встала ночью и пошла, и я этого не видела, потому что меня не было. И я не знаю, что делать, потому что я не могу тут ночевать. У меня работа с восьми тридцати.

— Вот, — сказала Мария Петровна. — Вот это ты мне сказала.

— И я ещё тебе скажу. Я в прошлую пятницу у Ивановых день рождения не пошла. И в субботу я не пошла в баню, куда я двадцать лет хожу. И дочери я в прошлый раз в сентябре звонила.

— Нина, — сказала мать.

— Нет уж, теперь я при тебе. — Голос остался ровным, и только слова стали короче. — Я не жалуюсь. Я говорю, что я тут, и что я буду тут, и что без меня эта вся твоя арифметика — половицы, газета, стакан — не стоит ничего. Потому что кашу варю я. Капли капаю я. Вентиль подтянула я. Угол обмотала я.

— Я тебя не просила про угол.

— Ты не просила. Я пришла и увидела, что у тебя на бедре полоса, и обмотала.

Мария Петровна сидела прямо. Кисти легли на подлокотники симметрично, пальцами вниз по изгибу дерева — в положении, в котором она встречала людей из поликлиники.

— Нина. Ты мне сейчас хорошее сказала и плохое вместе.

— Какое плохое?

— Что без тебя не стоит ничего. — Она помолчала. — Витя. Ты это слышал?

— Слышал.

— И что ты теперь скажешь?

Венский стул скрипнул перекладиной. Мозоль у основания большого пальца прошла по самому краю клеёнки, по яблокам, выцветшим до розовых пятен, туда и обратно.

До папки, лежавшей на жжёном месте в середине стола, оставалось полметра. Угол её высох за эти часы и остался вдавленным, с бугром по линии сгиба. Наклейка на обложке читалась от двери: «Отделение № 2. Условия и перечень услуг», и цифра стоимости в правом углу так и держалась синим облачком.

— Я скажу, что я три часа думал не то, — сказал Виктор.

Нина подняла голову.

— Я приехал с одним вопросом: тут или там. И я его весь автобус крутил. — Пальцы его прошли по клеёнке ещё раз. — А тут не «тут или там». Тут уже «там».

— Это как? — сказала Нина.

— Это так, что в этой квартире уже стоит учреждение. Только оно в одном лице и без оклада. — Голова его повернулась к сестре. — Ты сегодня пришла в семь. Сварила. В собес сходила. Пришла в двенадцать двенадцать. Ножку стула в вмятину поставила двумя пальцами и даже не заметила, что ты это сделала. Вечером придёшь в двадцать и закапаешь. И так с ноября по март.

— Я так два года.

— Два года, — сказал он. — Я тебе этого не считал.

На кухне загремела крышка — суп взялся. Нина дёрнулась к двери и остановилась.

— Иди, — сказала мать. — Сними и возвращайся. И говори из кухни, я хочу слышать.

Из кухни пошёл голос Нины, под стук крышки:

— Витя, мне не нужно, чтоб ты меня жалел.

— Я тебя не жалею. Я считаю.

— Чего ты считаешь?

— Сколько стоит то, что ты делаешь бесплатно.

Половица у буфета ответила, когда Нина вернулась. Она встала на неё и стояла, и голова Марии Петровны пошла на звук.

— Ты у буфета.

— У буфета, мама.

— Головой мотаешь.

— Мотаю.

Лопата во дворе съехала по стволу и упала на асфальт — плоский металлический хлопок, и стекло в серванте отозвалось тонким звоном.

Корпус Марии Петровны дёрнулся весь целиком, и плед сполз с её правого колена на пол.

В два шага Нина дошла до неё, подняла плед, встряхнула его один раз и расправила на коленях — сначала по правой, потом по левой.

— Это лопата, мама. У дворника. Она у дерева стояла и упала.

— Я слышала, что железо.

— Железо и есть. Лопата.

Рука матери нашла руку Нины на пледе и легла сверху, и большой палец у неё пошёл по костяшкам дочери — сантиметр за сантиметром, по ногтю, по тыльной стороне, по кольцу, которого на этой руке не было пятнадцать лет, и палец этот всё равно прошёл по пустому месту на безымянном.

— Руки у тебя холодные, — сказала Мария Петровна.

— Картошку мыла.

— Воду грей.

— Я грела.

— Грей лучше.

Так они стояли и сидели секунд двадцать, и ладонь Нины оставалась под рукой матери, и Нина её не забирала.

Потом пальцы Марии Петровны разошлись и отпустили.

Ладонь Виктора легла на папку сверху. Под ней подался высохший бугор на углу.

— Мам.

— Что.

— Там стул не трогают.

— Где?

— В той комнате, под Клинцами. Там стул не трогают, пол моют при человеке и заранее говорят, что сейчас будут мыть. Там Галина Ивановна сначала сказала: Пётр Семёнович, я беру вас под правую. И подождала.

— Ты мне это утром говорил.

— Утром я тебе говорил про клён. — Пальцы его сняли с наклейки прилипшую крошку сухого листа. — А сейчас я тебе говорю про другое. У тебя тут одна Нина на все сорок секунд до уборной. А там четырнадцать человек на одну Галину Ивановну, и это плохо, Нина права, я считал всю ночь и это плохо. Но там Галина Ивановна в смене, и у неё смена кончается, и приходит вторая. А у Нины смена не кончается.

— У меня кончается, — сказала Нина. — В полдвенадцатого.

— И начинается в семь.

Молчание держалось под радиатор.

— Мама, — сказал Виктор. — Я тебе эту папку сейчас не вечером, а сейчас открою. И мы её с тобой и с Ниной пройдём по пунктам, и мелкое внизу тоже. И ты мне на каждом пункте будешь говорить: вот это у меня тут есть, а вот этого у меня тут нет. И где у нас с Ниной нет — там я молчу. А где нет у тебя — там говорю я.

Резинки лежали на столе параллельно друг другу, и одна у самого края. Пальцы его взяли первую.

— Нина. Сядь.

Взгляд Нины ушёл на стул. Стул стоял в своих вмятинах, обеими передними ножками.

— Я сяду, — сказала она. — Только я сначала газ уберу.

— Иди.

— Витя.

— Что.

— Ты открывай при ней, — сказала Нина уже с порога. — Не до меня. Я из кухни слышу.

Резинка сошла с угла и легла на клеёнку третьей, рядом с двумя.

— Мам. Я открываю.

— Открывай, — сказала Мария Петровна и положила обе ладони на подлокотники. — И читай громко. У меня тут радиатор гудит.

Папка на клеёнке

Резинка сошла с третьего угла и легла на клеёнку четвёртой, в ряд с остальными. Картон на обложке распрямился не весь: угол, размокший вчера, остался вдавленным и держал на себе след большого пальца.

— Я открыл, — сказал Виктор.

— Слышу. — Мария Петровна положила обе ладони на подлокотники, пальцами вниз по изгибу дерева. — Громче читай. Радиатор.

Из кухни пошёл стук крышки — суп сняли с огня и накрыли. В комнату потянуло разваренной картошкой и лавровым листом, и к этому примешался мокрый шерстяной дух от пледа, подсохшего у радиатора. Потом тапки без задников прошлёпали по коридору и встали на пороге, у самой половицы.

— Я вошла, — сказала Нина. — С полотенцем. Я у двери постою.

— Садись.

— Я постою.

Скоросшиватель внутри папки разжался с металлическим вздохом. Первый лист был типографский, с водяным гербом в углу и телефоном в три строки. Второй — от руки, на четвертушке, чужим косым почерком.

— Первая бумага у них общая, — сказал Виктор. — Называется «Условия приёма». Я её читаю всю, с пунктами.

— Читай.

— Пункт один. Приём осуществляется по письменному заявлению самого получателя услуг либо его законного представителя.

Пальцы матери сошли с подлокотника и легли на обвязку пледа.

— Это я.

— Это ты.

— Витя, — сказала Нина от двери. — А если она заявления не напишет?

— Тогда никто её туда не повезёт.

— А законный представитель — это кто у нас? Ты?

— Никто. — Лист лёг на клеёнку. — У мамы дееспособность не ограничена, доверенности мы не делали. Пока она сама не подпишет, бумага мёртвая. Я у Галины Ивановны спросил прямо: может человек отказаться на входе? Она сказала — может и на третий день, расторгают по заявлению, забирают родные.

— А забирать на день можно? На Новый год, домой?

— Можно, с отметкой у сестры-хозяйки. И приходить можно каждый день, с десяти до восьми, кроме карантина по гриппу.

— Телефон у неё там будет?

— Телефон у неё свой. — Виктор помолчал. — Розетка у койки одна, зарядку я привезу с длинным шнуром.

— Дальше читай, — сказала Мария Петровна.

— Пункт два. При приёме предоставляются: паспорт, полис, справка об инвалидности, выписка из истории болезни, флюорография не старше года, анализы на кишечную группу и дифтерию.

— Флюорографию мне делали в областной, — сказала Мария Петровна. — Весной. Нина возила.

— В апреле, мама, — сказала Нина от двери. — В апреле, значит, в апреле она просрочится. И везти тебя на анализы в поликлинику, где второй этаж без лифта.

— Там есть выездная сестра, — сказал Виктор. — За отдельные деньги. Шестьсот рублей выезд.

— Шестьсот до нашего города?

Лист дрогнул в руке. Внизу, мелким, шло примечание в две строки.

— Нет, — сказал он. — Шестьсот у них по району. До нас — по километражу.

— Ага, — сказала Нина.

Радиатор щёлкнул и перешёл на верхнюю ноту. Во дворе кто-то открыл машину, и сигнализация отозвалась двумя короткими.

— Витя.

— Да, мам.

— Ты мне эти пункты до вечера читать будешь, а я из них ничего не возьму. — Обвязка шла под пальцем, палец за палец. — Я тебя про другое спрошу. Там день какой?

— Какой день?

— От подъёма. В шесть у них что? В семь? Я встаю в пять сорок, потому что радио в шесть даёт время, и я по нему сверяюсь. А у них что в пять сорок?

Бумага опустилась на клеёнку, на яблоки.

— В пять сорок у них темно.

— Это я знаю.

— Нет, мама, я не про то. У них в коридоре всю ночь горит лампа, одна, над постом. И в пять сорок она горит. А подъём по корпусу в семь.

— Что значит подъём?

— Значит, в семь приходят.

— Кто приходит?

— Санитарка. Их две на корпус в утреннюю. — Четвертушка с косым почерком перевернулась под пальцами. — Я это у Галины Ивановны переспросил и записал. В семь обход, кому надо — поднимают и ведут, кому надо — моют в постели. Потом завтрак, в восемь, в столовой первого этажа или в комнату, если лежачий. Потом лекарства. Потом до обеда они сами.

— Сами — это как?

Молчание держалось секунды четыре.

— Сидят, — сказал он. — Радио в холле. Телевизор в холле.

— А я где сижу?

— Где хочешь.

— Я спрашиваю: где я сижу. — Голос у матери не поднялся, но стал сухим и ровным — половица без ковра. — Витя, у меня тут кресло. Я его нашла в семидесятом году в комиссионном, и у него подлокотник правый ниже левого, потому что я на него всю жизнь локоть кладу. Я в него сажусь и у меня спина не болит. А там я во что сажусь?

— Там стулья. С мягким.

— С мягким.

— И одно кресло в холле.

— Одно, — сказала Мария Петровна. — На четырнадцать человек.

— Четырнадцать — это лежачие на сестру. Там в корпусе двадцать шесть.

Нина отошла от двери и переложила полотенце на другое плечо.

— Двадцать шесть на одно кресло.

— Нина.

— Я считаю. Ты сам считал всю ночь, ты и говорил.

Клеёнка под ладонью была тёплой от руки и холодной в двух сантиметрах правее. Мозоль прошла по розовым пятнам, выцветшим до основы, и собрала с них сухую крошку хлеба.

— В обед суп и второе, — сказал он. — Диетический стол есть, пятый и девятый. В четыре полдник. В шесть ужин. В девять обход, капли, кто на ночь просит — дают. В десять свет в комнатах гасят, в коридоре остаётся.

— Кто гасит?

— Санитарка.

— А если я не хочу в десять?

— Мам, у тебя свет и так не…

Слово остановилось на половине.

Пальцы матери замерли на обвязке.

— Доскажи, — сказала она.

Щетина под ладонью отозвалась шорохом, и этот шорох был громче радиатора. В правом запястье щёлкнуло сухо, мелко, где-то в косточке.

— У тебя свет не включён, — сказал Виктор. — Я вчера три часа тут сидел и не заметил, что мы с тобой в темноте.

— А я заметила.

— Как?

— По тебе. Ты в двенадцать сказал «я тебе почитаю» и к выключателю не пошёл. Значит, тебе было видно от окна. Значит, был день. — Она помолчала. — Я тебе вчера сказала: я весной свет различала. Окно от стены. Теперь не различаю. Теперь у меня от окна тепло, Витя. Я к нему щёку поворачиваю, и щека мне говорит, вышло солнце или нет. И тянет по низу, от рамы, холодным, в одну щиколотку. И плитка у второго подъезда к вечеру стучит часто, потому что с работы идут, а в обед редко. Я из этого утро от вечера беру, когда радио молчит.

Серый прямоугольник двора лежал у неё за плечом, в нём стоял дворник, уже без лопаты, и курил, повернувшись к мусорным бакам.

— В той комнате окно на юг, — сказал Виктор.

— Это ты мне третий раз говоришь.

— Я тебе про тепло говорю. Я вчера в обед вошёл и руку на подоконник положил — подоконник греется. И на батарею положил. Горячая, не чуть тёплая. У них котельная на территории, своя, они от города не зависят и в октябре топят с пятнадцатого.

— Это тебе Галина Ивановна сказала.

— Это я на батарее подержал. А Галина Ивановна сказала, что у них на посту термометр и утром пишут в журнал: двадцать два, двадцать три. И если в комнате сдуло, из кладовой несут масляный обогреватель и второе одеяло, под пятку. Я этот обогреватель видел, он в кладовой стоит, три штуки, и шнуры смотаны.

— А окно у них на зиму чем заклеено?

— Не заклеено. Там рамы новые, белые, в одну створку.

— Значит, от окна по полу не потянет. — Палец пошёл по обвязке. — А клён у стекла есть?

— Есть. В полутора метрах. Сейчас без листьев.

— А в июне он с листьями.

— С листьями.

— И тогда у меня до полудня в окне тепла нет.

Папка лежала между ними, на жжёном пятне, и больше его не прикрывала: раскрытая, она ушла углами в стороны, и пятно от кастрюли вышло наружу чёрным кольцом.

Нина присела на корточки у кресла и подвернула край пледа, который сполз по правому колену на палец.

— Мама, у тебя тут. Я подворачиваю.

— Подворачивай.

Руки у Нины двигались короткими сцеплёнными движениями: край, угол, прижать под бедро, проверить ладонью, что не висит.

— Витя, — сказала она, не поднимаясь. — Тридцать восемь.

— Да.

— Пенсия у неё шестнадцать четыреста.

— Шестнадцать четыреста восемьдесят, — сказала Мария Петровна. — С февраля.

— Они её берут в зачёт. Значит, разница двадцать одна с чем-то.

— Двадцать одна пятьсот двадцать, — сказал Виктор.

— Каждый месяц.

— Каждый.

— Это у тебя сколько?

Кулак сжался на клеёнке и отпустил. Под большим ногтем темнела полоска от вчерашнего сайлентблока, не домытая.

— У меня сорок две на руки, — сказал он. — У Лены пятнадцать, и она до февраля на больничном по колену, ей платят шестьдесят процентов.

— Значит, половину твоих.

— Половину.

— А у тебя квартира в ипотеке, — сказала Нина, вставая. — Ты в прошлом году говорил, восемь лет осталось.

— Семь.

— И ты сюда положишь двадцать одну пятьсот.

— Я положу.

— Сколько?

Радиатор гудел. Банка с физалисом стояла слева от пузырька, и сплющенный оранжевый фонарик лежал между ними, отломанным краем к стеклу.

— Я не знаю, — сказал Виктор.

— Вот.

— Я не знаю, Нина. Я тебе соврать могу, что всегда. Я год вытяну точно, у меня на зиму отложено на машину, машина подождёт. Второй год я вытяну, если не сломаюсь.

— А если сломаешься?

— Тогда я приду к тебе и к Серёге.

— Ко мне с чем? — Нина взяла с клеёнки первый лист, посмотрела на него и положила обратно, чуть мимо прежнего места. — У меня двадцать девять. У меня дочь в Твери с двумя детьми, и я ей в сентябре восемь тысяч отправила, потому что у них там садик частный, потому что в государственный очередь.

— Я знаю.

— Ты не знаешь. Ты это первый раз сейчас слышишь.

Половица у буфета ответила — Нина встала на неё, и голова Марии Петровны пошла на звук.

— Ты у буфета.

— У буфета, мама.

— Витя. А третий у нас кто?

— Серёга.

— Серёга, — повторила мать. — Он мне звонил в субботу. Говорил восемь минут. Спрашивал, не течёт ли у меня бачок.

— Бачок течёт, — сказала Нина. — Я ему сказала.

— И что он?

— Сказал, приедет в выходные с прокладкой.

— В какие выходные?

Нина не ответила.

Ложка в пустой тарелке дрогнула — дрогнул стол под переложенным локтем.

— Я ему вчера вечером писал, — сказал Виктор. — С автовокзала ещё, пока ждал. Про Клинцы. Он прочитал.

— И что?

— Ничего.

— Витя.

— Ничего, мама. Галочки стоят, ответа нет.

Правая рука сошла с подлокотника в воздух рядом с креслом, где стоял табурет. Ребро ладони прошло по табуретке от себя к себе. Стакан нашёлся сразу — так и стоял, сдвинутый вчера на три сантиметра влево и оставленный там. Блюдце легло на угол табурета, три глотка ушли, стакан вернулся точно в то же мокрое кольцо.

Блюдце сверху.

— Теперь так, — сказала она. — Нина. Ты мне который раз в этом разговоре про деньги сказала?

— Я считаю.

— Ты считай. Я тебе про другое. Ты мне скажи, кто меня там вечером спать поведёт.

— Там санитарка, мама, — сказал Виктор.

— Я не тебя спросила. Я Нину спросила.

Полотенце сползло с плеча Нины и повисло на спинке стула, одним углом ниже другого.

— Я не знаю, — сказала Нина.

— Вот. — Ладони матери вернулись на подлокотники, ровно, симметрично. — А здесь ты знаешь. Здесь ты меня в двадцать поведёшь, и ты мне капли закапаешь, и ты меня до уборной подождёшь за дверью, и ты мне скажешь: мама, я тут стою, не торопись. Ты это два года говоришь. И ты это ещё сколько будешь говорить?

Пальцы Нины сомкнулись на спинке стула. Дерево скрипнуло в стыке.

— Я буду.

— Сколько, Нина?

— Пока надо.

— Это не ответ.

— А какой тебе ответ надо? — Голос у неё остался ровным, кухонным, которым перечисляют, что купить. — Чтоб я тебе сказала «всегда»? Я скажу. Мне не трудно слово сказать. Мама, всегда. Вот.

— Это ты сейчас мне в лицо сказала.

— В лицо.

— А Витя слышал.

— Слышал, — отозвался Виктор.

— И теперь он тебе поверит и в свои Клинцы больше не позвонит. И будет у нас всё как было. И ты будешь в полдвенадцатого домой ходить два квартала, и у тебя в воскресенье нестиранное стоять будет, и дочь ты в сентябре звонила.

Крышка на кухне тихо осела на кастрюлю — пар дошёл до неё и выпустил изнутри.

— Мама.

— Что.

— Не надо так.

— Надо так, — сказала Мария Петровна. — Витя. Ты мне вчера сказал: у Нины смена не кончается. Ты это хорошо сказал. А теперь ты мне скажи: ты зачем сюда приехал. Про место я поняла. Я тебя про тебя спрашиваю.

Венский стул не дал ни звука, только подклеенная перекладина тронула пятку сквозь носок.

Правая ладонь легла на левое запястье и сжала. Под пальцами косточка отозвалась тем же сухим щелчком.

— Третьего числа, — сказал Виктор.

— Это ты мне рассказывал.

— Я тебе про двадцать минут рассказывал. Я тебе не рассказывал, что я делал на двадцать первой.

Пальцы матери остановились на обвязке.

— Я трубку не положил, — сказал он. — Валя говорит: подошла, всё, кран. И я ей говорю: спасибо, Валентина Сергеевна, спокойной ночи. И кладу. И стою в коридоре в одном носке. Второй я снял, пока ходил, и он у меня в руке был, мокрый, я в нём на балкон выходил.

— Дальше.

— Дальше на кухню, и сел. И сижу. И у меня в голове не кран. У меня в голове, как мне позвонят во второй раз, и Валя скажет не про воду.

— И?

— И я этот второй раз просидел весь. — Мозоль прошла по клеёнке, туда и обратно, по розовому пятну. — Я просидел, как я одеваюсь. Как я в справочную звоню, а автобуса нет до шести сорока. Как я семь часов еду и у меня телефон в руке. Как я сюда вхожу, а дверь уже открыта, потому что её кто-то открыл до меня. И вот до этого места я дошёл, и у меня руки затряслись, и я встал и выпил воды из-под крана, и Лена проснулась и спросила, что я тут делаю в половине двенадцатого.

Во дворе хлопнула дверца, и машина тронулась по мокрой плитке с длинным шуршанием.

— И ты ей что сказал? — спросила мать.

— Я ей сказал: ничего. Иди спать.

— А мне ты теперь сказал.

— Тебе сказал.

— Витя. — Правая рука поднялась и легла в воздух, ладонью вверх, на уровне груди, в пустоту между ними. — Дай руку.

Пальцы легли в её ладонь.

Держала не крепко. Большой палец пошёл по его ногтю, по тыльной стороне кисти, по мозоли у основания большого пальца, по ободку кольца. Сантиметр за сантиметром. На третьем круге палец остановился на запястье, там, где он сам его сжимал минуту назад, и постоял.

— Вот теперь я поняла, что ты привёз, — сказала Мария Петровна.

— Мам.

— Молчи. — Ладонь не отпустила. — Ты привёз мне папку. А в папке у тебя лежит твоя кухня и твоя половина двенадцатого. И ты хочешь, чтобы я тебе её из головы вынула. И я бы тебе её вынула, Витя. Я мать. Мне тебя жалко больше, чем себя.

У буфета стояла Нина и не двигалась, и половица под ней ничего не отвечала.

— Но я тебе её вынуть могу только одним способом, — сказала мать. — Я должна выйти отсюда и сесть в автобус. И тогда у тебя в коридоре никто в носке стоять не будет. И у Нины смена кончится. А у меня кончится всё.

Пальцы её разошлись и отпустили. Рука вернулась на подлокотник.

— Это не всё, — сказал Виктор.

— Это всё, сынок. — Ровно, без нажима. — Я сегодня утром до кухни дошла и полотенце перевесила. Сгибом к стене. Это у меня работа. Больше у меня работы нет. И если у меня эту работу забрать, я буду сидеть в одном кресле на двадцать шесть человек и ждать, когда в семь придут.

— Там Галина Ивановна предупреждает, — сказал он. — Она при мне сказала: Пётр Семёнович, я беру вас под правую. И подождала.

— Это ты мне четвёртый раз говоришь. — Мария Петровна помолчала. — А ты у Петра Семёновича спросил, как его по имени-отчеству зовёт вторая смена?

Папка на клеёнке лежала раскрытая, и первый лист с водяным гербом сдвинулся с того угла, куда его положила Нина, — на половину ладони, в сторону солонки.

— Не спросил, — сказал Виктор.

— Вот.

— Я спрошу.

— Когда?

— Я им сегодня позвоню.

— Сегодня, — отозвалась Нина от буфета. — Витя. А ты спроси ещё, чего она тебе не показала.

— Что не показала?

— Я не знаю. Я там не была. Я тебе говорю: ты приехал в обед, и тебя водила та, которая в смене, и ты видел то, что она тебе показала. Ты у них в четыре утра был?

— Не был.

— А я тут в четыре утра была. В прошлый вторник. И я тебе про тот вторник не говорила, потому что ты бы сразу в Клинцы позвонил.

Голова матери повернулась к ней. Шейный позвонок сухо щёлкнул под платком.

— Нина. Ты во вторник в четыре утра тут была?

Полотенце со спинки стула Нина взяла обеими руками, сложила вдвое, потом ещё вдвое, и углы у неё не сошлись — вылез язычок махры, сантиметра на два.

— Была, мама.

— Я тебя не звала.

— Ты меня не звала. Я в двенадцать от тебя ушла, а в полчетвёртого у меня в голове щёлкнуло, что я вентиль не до конца закрыла, и я встала и пошла.

— Два квартала. Ночью.

— Два квартала.

— И вентиль?

— Закрытый был. Я постояла в прихожей, послушала, как ты спишь, и ушла. Я к тебе в комнату не заходила, чтобы ты не проснулась.

Радиатор щёлкнул, и по ноге под столом прошла волна сухого тепла, от которой под коленом зачесалось. Между рамами, на пожелтевшей вате, лежали два августовских мотылька. Сквозняк тронул одного за крыло, и крыло поднялось и опустилось, и опять поднялось.

— Вот про это я и говорю, — сказал Виктор тихо.

— Про что.

— Про то, что у нас тут два человека не спят. Она в полчетвёртого встаёт и идёт через город проверять вентиль, а я в другом городе сижу на кухне и проигрываю себе, как мне позвонят. И мы с ней оба это два года делаем и друг другу не говорим.

Ободок стакана был липкий, и палец, пройдя по нему, остановился на сколе.

— Я тебе сказала, — сказала Нина.

— Ты мне сегодня сказала.

— Я тебе сегодня сказала, потому что ты сегодня первый раз сел и стал слушать. Ты раньше всё знал.

Четвертушка с косым почерком съехала с листа и легла поперёк, прикрыв собой слово «питание». В самом низу у неё стоял номер телефона и приписка в три слова: «спросить Г. И.»

— Хорошо, — сказала Мария Петровна. — Теперь я вам скажу, что мне надо.

Оба повернулись к ней. Проверить это она не могла.

— Витя, ты звони. Ты у них спроси не про клён. Ты спроси: в семь утра кто входит. В семь вечера кто. В четыре утра кто в корпусе, по имени, и сколько он там часов до этого не спал. Спроси, можно мне кресло привезти. Моё. Вот это, с подлокотником.

— Я спрошу.

— Спроси, можно мне радио. Мне не телевизор. Мне радио, которое в начале часа время говорит.

— Спрошу.

— И спроси главное. Нина, ты тоже слушай, потому что ты это у себя тоже не знаешь.

— Я слушаю.

Правая рука матери пошла по обвязке пледа, палец за палец, по шишечкам, и остановилась там, где петля была спущена.

— Я каждое утро просыпаюсь и первые секунды не знаю, где я, — сказала Мария Петровна. — Это у всех так, у вас тоже, вы просто глаза открыли и всё. А я лежу и слушаю. И я слышу: радиатор гудит на одной ноте, у Вали наверху вода идёт, на лестнице никого, за окном у второго подъезда плитка стучит, если по ней идут. И я по этому собираю, что я дома. И это у меня занимает секунды три. А потом я встаю.

Радиатор держал свою ноту. Ложка в стакане шла по ней мелкой дрожью, прислонившись к стеклу.

— Витя. Ты у них спроси: я там утром открою глаза и буду слушать. И я услышу, как в коридоре идут, и как в двери напротив кто-то кашляет, и как кто-то по лампе над постом говорит. И я из этого не соберу ничего, потому что оно не моё. Ты спроси у своей Галины Ивановны: сколько у меня там будут эти три секунды? Три минуты? Час? Или они у меня там никогда не кончатся, и я каждое утро буду просыпаться в чужом?

Она подождала. В тишине мотылёк между рамами перевалился на другой бок и больше не двигался.

— Вот это ты спроси, — сказала она. — И ещё одно спроси, и с него начни. Можно мне там просыпаться в своей комнате? В своей, одной, чтобы дверь была закрыта и чтобы я утром не слышала чужих голосов — ни в коридоре, ни за стеной, ни над головой. Мне не вид нужен, Витя, мне нужно, чтобы первое, что я утром услышу, было моё. Можно так или нельзя? И вот с этим ответом ты ко мне приходи. А папку свою закрой, она мне на столе мешает. Я к ней руку тяну и в неё упираюсь, а там у меня соль стояла.

Лучше умереть дома

Папка закрылась не сразу: пружина скоросшивателя не пускала первый лист, пока угол его не завернулся, и картон сошёлся с хрустом, в котором была вчерашняя вода.

— Закрыл, — сказал Виктор.

— Теперь сними со стола.

Резинки легли на углы, одна за другой, четвёртая соскочила и упала в пыльную полосу у дивана. Папка ушла на подоконник, к банке с физалисом, и встала там ребром, прислонившись к раме.

— Ты её куда дел?

— На окно.

— Там у меня капли.

— Капли слева от банки. Я справа поставил.

Ладонь матери пошла по клеёнке от себя — ровно, без поиска, по жжёному пятну от кастрюли, которое два часа было прикрыто и теперь вышло наружу чёрным кольцом. Палец остановился в середине этого кольца, постоял и двинулся дальше, к тому углу, где всю жизнь стояла соль.

Угол был пустой. Пальцы встали там, где солонка стояла все сорок лет, прошли по клеёнке на ширину её донца и разошлись.

— Витя.

— Да.

— Соль.

Солонка стояла у серванта, куда её утром отодвинули, чтобы положить папку. Стекло проехало по клеёнке с коротким скрипом и встало на своё место, в светлый прямоугольник, выеденный в рисунке за сорок лет.

Рука нашла её со второй попытки. Обвела ободок. Ноготь прошёл по дырочкам в крышке — три пустые, одна забитая.

— Вот, — сказала Мария Петровна. — Теперь тут стол.

Радиатор под окном гудел на одной ноте. Во дворе плитка у второго подъезда отзывалась редко, с большими промежутками, — обед, никто не идёт.

На кухне Нина ставила кастрюлю под струю, и струя била в донце с жестяным звоном, выворачивалась через край и уходила тише.

— Нина! — позвала мать, не повышая голоса. — Иди сюда. Я при вас обоих скажу.

Вода закрылась. Вентиль дошёл до упора, сорвался на половине оборота и дал в раковину короткий плеск. Тапки без задников прошлёпали по коридору, обошли табурет с газетой — носком, с нажимом, по ножке — и встали на пороге.

— Я вошла. С мокрыми руками.

— Вытри и сядь.

— Я постою.

— Нина.

Передник подался под ладонями, и ладони прошли по нему дважды, снизу вверх. Стул развернулся к креслу. Половица под ним прошла двойным глухим стуком через шов, и Нина села на самый край, оставив между собой и спинкой ладонь воздуха.

— Села, мама.

— Слышу.

Пальцы матери пошли по обвязке пледа, палец за палец, и на третьей петле остановились.

— Я туда не поеду, — сказала она. — Я тут умру.

Венский стул не дал ни звука. Подклеенная перекладина упёрлась Виктору в пятку сквозь носок, а сам носок, мокрый с утра, лежал на лаке у самой перекладины, и лак под ним за три часа потемнел пятном в полпятки.

Нина сидела ровно. Под передником левая её рука сомкнулась на кромке сиденья, и дерево в стыке скрипнуло.

— Мама.

— Я сказала, а вы сидите и слушайте, не перебивайте. Я это не в сердцах. Я это с третьего числа каждую ночь складываю, с того вечера, как Валя за дверью стучала.

Между рамами, на пожелтевшей вате, лежали два августовских мотылька. Сквозняк из щели тронул того, что ближе к стеклу, и крыло у него поднялось и легло обратно.

— Витя, ты мне про комнату говорил. Окно на юг, батарея горячая, рамы белые. Это ты хорошо говорил, я тебе верю. — Ладонь сошла с пледа и легла на подлокотник, на правый, который ниже левого, и легла в выемку, продавленную локтем за пятьдесят с лишним лет. — А теперь я тебе скажу, из чего у меня тут день.

Её правая рука пошла с подлокотника вниз, к табуретке.

Ребро ладони прошло по табуретке от себя к себе. Нашло блюдце. Блюдце поднялось, перевернулось и легло рядом вверх дном. Стакан — на три сантиметра левее, где его сдвинули утром и где он остался.

Стакан поднялся до середины пути и опустился обратно, непитый. Встал точно в своё мокрое кольцо. Блюдце сверху.

— Вот это, — сказала она. — Это пятьдесят с лишним лет. Я этот стакан в семидесятом вместе с креслом купила, в одном комиссионном, в один день.

— Мам, стакан мы возьмём.

— Молчи, я не про стакан. — Рука ушла дальше, вправо и назад, к стене. Обои там держали вытертую серую полосу на уровне бедра, длиной во весь коридор, и под ладонью эта полоса была гладкой, без ворса, тёплой от радиатора. — Вот обои. Я по ним иду. Тут у меня гладко, а за углом в коридоре начинается шершавое, там другой кусок клеили, в девяносто втором, когда Серёжа женился. И я по этому стыку знаю, что я вышла из комнаты.

Пальцы её постояли на стыке.

— Теперь половица. Нина, встань на свою.

Нина поднялась и встала к буфету. Половица отозвалась коротким скрипом с провалом в середине.

— Это Нина, — сказала мать. — Это у неё двое. А если я сама на неё наступлю, она отвечает по-другому, выше, потому что во мне сорок девять килограмм. Витя, встань.

Стул отошёл. Под восемьюдесятью с лишним половица просела глубже и дала низкий короткий стон, и стекло в серванте тонко отозвалось.

Голова матери повернулась к этому звону.

— Вот. Вас у меня три звука. Третий Серёжин, он на пятку падает. Я их тридцать лет не путаю.

— Сядьте оба, — сказала она. — Я ещё не кончила.

Стул сел в свои вмятины. Передняя левая ножка — сразу, передняя правая — после короткого шарканья.

Левая ладонь матери легла плашмя на клеёнку и пошла по ней широко, до самого края, и на краю пальцы завернулись под кант и прошли по жёсткому шнуру с изнанки.

— Клеёнка. На ней яблоки были, зелёные с красным. Я их последний раз видела в позапрошлом октябре. Теперь у меня тут середина жжёная, от кастрюли, это я в девяносто девятом поставила без тряпки. Тут у меня справа гладко, а тут, — палец встал на три ладони левее, — тут у меня прожжено от утюга, маленькое, с копейку, это Нина в школе гладила.

— Я в седьмом классе, — сказала Нина.

— В шестом. Ты в седьмом уже на меня работала.

Ответа не было. Во дворе у второго подъезда плитка стукнула дважды и замолчала.

— И вот я утром встаю, — сказала Мария Петровна. — Я от половицы у кровати считаю, у неё шов поперёк. Три шага до угла шкафа, он обмотан. От угла поворот. Три до двери, в двери порожек на половину ладони. Коридор пахнет обувью. Кухня пахнет газом, и пригорелым молоком с семьдесят восьмого года, этот запах в полу живёт, он никуда не уходит, я его мыла. Полотенце у раковины сгибом к стене. Я его утром перевешиваю. Это моя работа.

Пальцы её вернулись на обвязку пледа.

— А там я во что встану?

— Там тебя поднимут.

— Витя. Я не спросила, кто меня поднимет. Я спросила, во что.

Ладонь Виктора прошла по лицу снизу вверх. Щетина отозвалась шорохом, и этот шорох был громче радиатора.

— В комнату, — сказал он.

— Какую?

— Я тебе её описал.

— Ты мне её описал с окном. — Голос у неё не поднялся, стал сухим и ровным, половицей без ковра. — Витя, окно мне теперь не комната. У меня весной окно было, я его от стены различала, светлое от тёмного. Теперь у меня от него тепло в щёку и тянет холодным в одну щиколотку, и всё. Мне надо, чтобы я проснулась, протянула руку и во что-то попала. И чтобы это что-то было моё, и чтобы я по нему вспомнила, кто я.

Мозоль у основания его большого пальца прошла по краю клеёнки, по розовому пятну, туда и обратно. Под ногтем темнела полоска от вчерашнего сайлентблока, не домытая.

— Мам. Это не тюрьма.

— Я не говорила «тюрьма».

— Ты говоришь так, будто я тебя сдаю. — Кулак сжался на клеёнке и отпустил, и в правом запястье отозвалось сухим мелким щелчком где-то в косточке. — Я тебя не от свободы увожу. Я тебя увожу от двери, которая заперта изнутри, и от Вали, которая два раза в месяц, и от ночи с четверга на пятницу, когда в этом доме нет ни одного человека, который услышит, если ты упадёшь.

— Я упаду, — сказала Мария Петровна.

— Да.

— Я уже падала. В марте. На кухне, у плиты.

Нина повернула голову.

— Когда в марте?

— Не в твою смену, — сказала мать. — Я до стула доползла и села. Я тебе не говорила, потому что ты бы тогда уже ко мне переехала и мужа бросила, а у тебя его и так нет.

Тишина держалась под радиатор. На кухне крышка тихо осела на кастрюлю — пар дошёл до неё и выпустил изнутри.

— Мама, — сказала Нина.

— Что.

— Ты в марте упала и мне не сказала.

— Не сказала.

— А синяк на бедре в апреле откуда был, который ты на шкаф списала?

— Оттуда.

Стул отошёл назад. Руки Нины легли на спинку тем же хватом, что в семь утра, и костяшки на правой пошли белым — четыре пятна в ряд.

— Я тебе троксевазин мазала и верила, что это шкаф.

— Ты и шкафу верила, и мне верила. Ты всему веришь, Нина, у тебя работы много.

Передник сполз на поясе, и поправлен не был.

— Витя, — сказала она. — Я этого не знала.

— Я вижу.

— Я два года считаю, что я тут всё держу. А она в марте на полу у плиты лежала и до стула ползла.

— Я не лежала. Я села и посидела.

— Сколько посидела?

— Я не смотрела, Нина. У меня часы весной встали.

Часы висели над дверью без стрелок, со снятой со стекла рамой, и внутри, на циферблате, лежала скрученная резинка.

Шаги пошли из комнаты, остановились на пороге и вернулись к креслу. Нина присела на корточки и подвернула край пледа, который сполз по правому колену на палец. Край, угол, прижать под бедро, проверить ладонью, что не висит.

— Я подворачиваю.

— Подворачивай.

Кисти у неё при этом дрожали, и плед под ними шёл мелкими волнами.

— Мама, у тебя тут обвязка спущена. Петля. Я вечером подниму.

— Не поднимай. Я по ней место держу.

— Какое место?

— Я по ней считаю, куда рука дошла. У меня там восемь шишечек от угла, потом спущенная, потом ещё двенадцать. Я их перебираю, когда вы говорите, и у меня в голове не мутится.

Корточки держались. Седая полоса у самого пробора шла от лба назад, и в прошлом году её не было.

— Это ты для этого перебираешь?

— Для этого.

— Все эти два года?

— Побольше.

Во дворе прошёл кто-то с собакой, и собака один раз коротко взяла голосом, и плитка у второго подъезда стукнула дважды.

— Мам, — сказал Виктор. — Хорошо. Я тебя услышал. Я тебе теперь одно скажу, и ты меня не перебивай, как я тебя не перебивал.

— Говори.

Папка стояла на подоконнике ребром. Мокрый угол её за два часа высох и остался вдавленным, с бугром по линии сгиба, и наклейка в правом углу держала синее облачко расплывшихся чернил.

— Ты говоришь: я тут умру. — Ладонь его легла на клеёнку плашмя, на то жжёное кольцо, и накрыла его целиком. — А я тебе скажу, как это будет. Не вообще. Я это с третьего числа проигрываю, я тебе половину уже рассказал, а вот эту половину не рассказывал.

— Рассказывай.

— Это будет во вторник или в среду, потому что в эти дни у Нины отчёт, она берёт утро отгулом и приходит к тебе в девять, а не в семь. Ты встанешь ночью. Ты пойдёшь по своим трём шагам. И у тебя закружится, или нога не послушается, ты сама говорила, что они у тебя затекают и потом не слушаются. И ты упадёшь в коридоре, за порожком, потому что там у тебя переход.

— Я могу там упасть, — сказала Мария Петровна.

— И ты будешь лежать до девяти.

— Буду.

— Ты будешь лежать на линолеуме, который Нина вымыла, всю ночь и всё утро, часов десять. Там тянет из-под двери, ты это знаешь, ты туда тряпку кладёшь. А телефон у тебя будет

в спальне на подоконнике, потому что он у тебя всегда там, у кровати. И ты до него не дойдёшь, потому что у тебя будет сломана нога.

— Витя, — сказала Нина.

— Нет. Пусть слышит.

— Она слышит.

— Она слышит половину. — Пальцы прошли по клеёнке и встали. — Мам. А потом в девять придёт Нина. Своим ключом, два поворота. И она дверь откроет, и дверь пойдёт и задержится, потому что ты за ней.

Правая ладонь матери легла на левое запястье и сжала. Под пальцами косточка отозвалась тем же сухим щелчком, что и у него.

— И вот этого я не вынесу, — сказал Виктор. — Не твоей смерти. Я твою смерть вынесу, ты мне мать, ты старая, тебе девяносто два, я это понимаю и к этому готов. Я не вынесу того, что ты всю ночь и всё утро будешь лежать в коридоре одна и будешь слушать, как у второго подъезда плитка стучит, и считать, сколько там до девяти.

Из рамы потянуло. Мотылёк на вате перевалился на другой бок и больше не двигался.

— Я это буду слушать, — сказала мать.

— Да.

— Я это, Витя, и так каждую ночь слушаю.

С запястья ладонь сошла на подлокотник. Обе кисти встали ровно, симметрично, пальцами вниз по изгибу дерева, — положение, в котором она принимала людей из поликлиники.

— Ты думаешь, я этого не складывала? Я это складывала в марте, на полу, у плиты. Я сидела на полу, и у меня под правой рукой был холодильник, он гудел, и я по нему держалась. И я тогда посчитала, что если я не встану, то я тут до семи. И знаешь, что у меня в голове было?

— Что.

— Что холодильник гудит, — сказала она. — И что он у меня гудит с девяносто первого года, и что он мой. Вот это у меня было. И мне на полу было не страшно, Витя. Мне было холодно и стыдно, что Нина придёт и увидит.

Нина поднялась с корточек. Поднялась не сразу: сначала рукой за подлокотник кресла, потом перенос, потом вверх.

— Я воды принесу, — сказала она.

— Не надо мне воды.

— Я себе.

Тапки ушли на кухню. Там открылся кран, пошла струя, и струя шла дольше, чем нужно на один стакан.

— Мам, — сказал Виктор тихо. — А если бы ты не встала?

— Я встала.

— А если бы нет?

— Тогда бы я не встала, и всё. — Пальцы пошли по обвязке, палец за палец. — Витя. Ты мне вот что скажи. У меня там, в этих твоих Клинцах, я ночью пойду, и упаду, и Галина Ивановна придёт через четыре минуты. Это хорошо, я не спорю. А я на чьём полу буду лежать эти четыре минуты?

— На их.

— Вот.

— Это лучше, чем десять часов на своём.

— Это тебе лучше.

Кран на кухне закрылся. Вентиль дошёл до упора и сорвался, и в раковину хлопнуло.

— Сорвался, мама! — сказала Нина оттуда.

— Я слышала. Я его в уме подтягиваю.

Со стаканом, из которого не было выпито, Нина вернулась и поставила его на клеёнку, в стороне от солонки.

— Витя, — сказала она. — Я с ней.

— Я знаю.

— Нет, ты послушай, я тебе не про чувства. — Она села на стул, и на этот раз до спинки. — Я тебе по делу. Ты говоришь: вторник, девять, отчёт. Это правда. Я приду в девять. Значит, надо, чтобы в эти часы кто-то был.

— Кто?

— Я могу переехать.

— Куда.

— Сюда. — Передник она так и не поправила, и завязка висела у неё с одной стороны. — У меня своя квартира в двух кварталах. Я её сдам. Там двушка, за неё в нашем городе берут восемь. Я сюда перееду с вещами и буду тут ночевать.

— А работа?

— Работа с восьми тридцати, кроме отчётных дней, в них я утро выменяю. Я отсюда дойду за двадцать минут, тут даже ближе: выхожу в десять минут девятого, а Валя у тебя к девяти.

— А с восьми тридцати до конца твоей смены она с кем?

Нина молчала.

— Восемь часов, Нина. Плюс обед. Плюс ты в областную её повезёшь за выпиской. Плюс ты в собес.

— Я Валю попрошу.

— Валя два раза в месяц и за пирожки.

— Я ей буду платить.

— Она не берёт, обижается.

— Я ей буду платить, — сказала Нина громче. — Я ей скажу: Валентина Сергеевна, вот вам полторы тысячи в месяц, сидите у мамы с девяти до двенадцати. И она возьмёт, потому что у неё внук в техникуме.

— А с двенадцати до восемнадцати?

— Я найду.

— Кого?

— Я найду, Витя! — Ладонь её хлопнула по столу плашмя, и стакан, из которого она не пила, пошёл по клеёнке на сантиметр, и солонка дрогнула. — Я найду, потому что я два года нахожу. Я ей вентиль нашла. Я ей угол обмотала. Я ей справку по инвалидности пятый месяц вожу. Ты мне скажи, чего я не нашла?

Голова матери пошла на звук хлопка, и шея у неё под подбородком натянулась двумя жилами.

— Нина. Ты по столу ударила?

— Ударила, мама.

— Не надо по столу. У меня тут соль стоит.

Нина посмотрела на солонку. Солонка стояла в своём светлом прямоугольнике, двумя миллиметрами мимо.

Два пальца подвинули её. Солонка села.

— Я поправила.

— Спасибо.

Радиатор щёлкнул и перешёл на верхнюю ноту. Ложка в стакане на табуретке шла по ней мелкой дрожью, прислонившись к стеклу.

— Нина, — сказала Мария Петровна. — Ты сейчас хорошее придумала и плохое вместе.

— Какое плохое?

— Что ты квартиру сдашь.

— Это деньги, мама.

— Это твоя квартира. Ты её двадцать два года ждала. Ты в ней три года живёшь. — Пальцы остановились на спущенной петле. — И ты её сдашь и переедешь ко мне в проходную, на диван, у которого ножка на кирпиче.

— Я на диване спать могу.

— Можешь. — Ладони её лежали ровно. — А потом я умру, и ты в тот же день вернёшься к себе, и у тебя будет своя квартира и чужие люди в ней полтора года по договору. И ты будешь сидеть у себя на кухне и считать, сколько ты за эти полтора года не сделала.

— Я не буду считать.

— Будешь. Ты считаешь. Ты вчера при Вите сказала: двадцать девять, и дочери восемь отправила, и в баню не пошла, куда двадцать лет ходишь. Это ты считала.

Стакан, из которого она не пила, Нина взяла и выпила весь, в три глотка, не отнимая от рта.

Поставила. Вытерла рот тыльной стороной кисти.

— Я считала, — сказала она.

Тишина держалась под радиатор, и в ней было слышно, как во дворе дворник волочит пустое ведро по мокрому асфальту — железом по камню, с остановками.

— Витя, — сказала мать. — Теперь вы меня оба послушайте, и на этом я кончу.

— Слушаем.

Правая рука её поднялась и легла в воздух, ладонью вверх, на уровне груди, в пустоту между ними.

Он вложил в неё свои пальцы.

Большой палец пошёл по его ногтю. По тыльной стороне кисти. По мозоли у основания большого пальца. По ободку кольца. Сантиметр за сантиметром, и на этот раз без третьего круга: остановился на запястье и постоял.

— Я вам не обещаю, что я тут не упаду, — сказала она. — Я упаду. Может, в эту пятницу.

— Мама.

— Молчи, Нина, я держу Витю за руку, я один раз говорю. — Ладонь не отпустила. — И я вам не обещаю, что вам потом не будет плохо. Вам будет плохо. Нина придёт в девять, откроет дверь и упрётся. Вот это у вас будет, и я это у вас отнять не могу, и я бы отняла, да нечем.

Кисть его лежала в её ладони без движения, и под её большим пальцем на запястье частило мелко и быстро, вдвое против радиатора.

— Но я вам вот что скажу. Я этого дома боюсь меньше, чем той комнаты. Тут я падаю на свой пол и держусь за свой холодильник. А там я упаду на чужой, и мне придут помогать, и это будет правильно, и я буду лежать и слушать, как в коридоре идут, и я из этого не соберу ничего. Я это сегодня Вите говорила, про три секунды.

— Говорила.

— Вот. — Пальцы разошлись и отпустили. Рука вернулась на подлокотник. — Я не от медсестры отказываюсь. Я от трёх секунд не отказываюсь. У меня, кроме них, ничего не осталось, Витя. Ни глаз, ни ног толком, ни мужа, ни сестры, ни работы. У меня осталось, что я утром просыпаюсь и за три секунды собираю, что я Мария Петровна и что я дома. И ты мне предлагаешь это отдать за то, чтобы тебе ночью не звонили.

Щетина опять прошла под ладонью, снизу вверх, и шорох перекрыл радиатор.

— Я тебе это предлагаю за то, чтобы ты не лежала всю ночь и всё утро в коридоре.

Пальцы её прошли по обвязке, палец за палец, и встали на спущенной петле.

— Ты считал свою сторону.

На стуле Нина держала обе руки на коленях, ладонями вниз. Костяшки правой отошли от белого и стали обычными, и на среднем пальце лежал старый порез от ножа, заживший неровно.

— Она права, — сказала Нина.

— В чём.

— Во всём, Витя. И ты прав. Вот это у нас и есть.

— Это не ответ.

— Это не ответ, — согласилась она. — Я тебе ответ не дам. Я могу переехать и могу Вале платить, если она ещё возьмёт, и всё равно с двенадцати до шести тут будет никого, да и утром пятьдесят минут моих, от десяти минут девятого до девяти. И в марте, когда она на полу сидела, тут тоже было никого, и я про это узнала сегодня, через восемь месяцев.

Голова матери пошла к дочери.

— Нина.

— Да, мама.

— Я тебе про март зря сказала.

— Нет. Ты мне про март вовремя сказала.

— Я тебе теперь это в руки положила, и ты с этим будешь ходить.

— Я с этим уже ходила, — сказала Нина. — Я просто не знала, что это март.

Из спальни, через коридор, через порожек, пошёл звук — глухой, в два такта, повторяющийся: телефон на подоконнике у кровати, вибрация в деревянную доску; после третьего такта поверх неё вступила тонкая заводская трель.

Лицо матери развернулось на звук.

— Это у меня.

— У тебя.

— Нина, подай. Он у кровати, на окне.

Тапки ушли и вернулись быстро. Телефон лёг в её ладонь экраном и кнопками вверх — кнопочный, с большими цифрами, с царапиной на боку. От трели в ладони шла мелкая дрожь, и дрожь доходила до подлокотника и до дерева под рукой.

— Кто?

Нина наклонилась к экрану.

— Серёжа.

Пальцы матери нашли зелёную кнопку и остановились на ней.

— Он мне в субботу звонил. Восемь минут. Про бачок.

— Мама, он сейчас сбросится.

— Пусть.

Трель дошла до конца и оборвалась на середине такта. Остались радиатор и вода в стояке за стеной.

Телефон не ушёл из ладони. Большой палец прошёл по кнопкам, по рядам, сверху вниз, по ощупи — так считают петли на обвязке.

— Серёжа звонит в субботу, — сказала Мария Петровна. — А сегодня у нас что?

— Четверг.

— Четверг. — Пальцы сошли с кнопок. — Значит, вы ему уже позвонили. Кто из вас?

Нина посмотрела на брата. Виктор не ответил сразу, и в этом промежутке радиатор щёлкнул и перешёл на верхнюю ноту.

— Я, — сказал он. — В среду вечером. Я ему про Клинцы сказал.

— И что он тебе сказал?

— Он сказал: считайте без меня, я приеду и подпишу.

Ладонь матери легла на телефон плашмя и накрыла его целиком.

— Вот теперь я поняла, — сказала она. — Вы меня третий день делите на двоих, а решать вас трое. И поэтому вы никак и не кончите.

Виктор поднялся. Стул отошёл, половица дала низкий короткий стон, стекло в серванте тонко отозвалось.

— Мам, дай мне телефон.

— Зачем.

— Я ему перезвоню.

— Он мне звонил.

— Он тебе звонил, а перезвоню я. — Ладонь его пошла по воздуху коротким полукругом, и в полукруг вошли стол с клеёнкой, кресло, табуретка со стаканом, половица у буфета, папка на подоконнике и Нина на стуле. — Потому что вот это на двоих не делится. Тут остаток.

Нина подняла голову.

— Он не приедет до выходных, Витя. Он в субботу с прокладкой обещал.

— Я знаю.

— Тогда зачем звонить сейчас?

— Чтобы он в субботу не с прокладкой приехал.

Пальцы матери разошлись на телефоне и собрались обратно.

— Витя. Ты ему мои три секунды не рассказывай.

— Почему?

— Он их переведёт в деньги. Он спросит, сколько стоит сиделка с двенадцати до шести, и ему ответят, и он скажет: вот и всё, мама, не выдумывай.

— Он так и скажет, — сказал Виктор.

— Вот и не рассказывай.

Рука прошла по пледу, нашла телефон и сомкнулась на нём, и не отдала. Виктор постоял над креслом, глядя на эту руку, и ладонь его вернулась на спинку венского стула.

— Ладно, — сказал он. — Держи.

— Я держу.

— Держи, мам. Он всё равно перезвонит, он два раза не умеет не перезвонить. — Пальцы его прошли по подклеенной перекладине и остановились на шве. — Нина.

Локти её пошли на колени, и плечи подались вперёд.

— Да.

— Вот так не сиди, ты уже вставать собралась. — Он сел сам, и половица прошла двойным глухим стуком через шов. — Я тебе скажу, что у нас на сегодня вышло, и ты меня поправь, если я вру. Мама туда не поедет. Это она сказала при нас обоих, и я это слышал, и я это принял. Ты переехать можешь, но только на ночь и на утро, и главная дыра у нас с двенадцати до шести, и на неё у тебя человека нет. Плюс утром пятьдесят минут, пока Валя не пришла: ты вышла в десять минут девятого, она у двери в девять. И Валя ещё не сказала «да», это ты её за неё посчитала.

— Нет, — сказала Нина.

— И у меня нет. У меня есть Клинцы и восемнадцать тысяч, и больше у меня ничего нет.

— А сиделка?

— Сиделка в нашем городе двадцать две, Нина. Я звонил в двух местах. Это больше, чем Клинцы, и это без ночи.

Голова матери пошла на его голос.

— Двадцать две, — сказала она.

— Двадцать две, мам.

— Я этого не знала. — Пальцы её встали на спущенной петле и постояли. — А я у вас в месяц сколько стою?

— Мама, — сказала Нина.

— Я спросила по делу. Вы тут при мне третий день считаете, а мне цифры не говорите. Я слепая, а не глупая.

Виктор провёл ладонью по лицу снизу вверх, и щетина отозвалась шорохом.

— Восемнадцать — это пансионат, — сказал он. — Твоя пенсия семнадцать с чем-то, и у них в договоре на второй странице, мелким: семьдесят пять процентов пенсии в счёт оплаты, остальное по перечню, за отдельную плату. До восемнадцати, значит, добирать. Остальное мы с Серёжей добираем. И Нина сверху, хотя её никто не просит.

— А дома?

— А дома, мам, ты стоишь не деньгами. Дома ты стоишь Нининой квартирой и Нининым сном.

Тишина держалась под радиатор. Во дворе дворник доволок ведро до угла и бросил, и железо один раз стукнуло о камень.

— Вот это ты правильно сказал, — проговорила Мария Петровна. — Это я и сама так считала, только у меня в счёте Нины не было. Я её из счёта вынимала, чтобы мне легче спалось. — Ладонь сошла с пледа и легла на подлокотник, в выемку. — Нина.

— Да, мама.

— Квартиру ты не сдашь. Это у меня условие. Одно.

— Мама.

— Одно условие, Нина. Я тут умру, я это сказала и с этого не сойду, но я не умру в твоей квартире с чужими людьми. Ты будешь ко мне ходить, как ходила, и ночевать, если сможешь, а свой ключ у себя в кармане держи.

Нина сидела ровно. Завязка передника висела у неё с одной стороны, и она её не поправила.

— А дыра?

— А дыра пусть будет дыра. У меня она два года была, я в неё один раз упала.

— Один раз, который я знаю, — сказала Нина.

Мать не ответила. Пальцы её прошли по обвязке, палец за палец, и на спущенной петле остановились.

— Мама.

— Я считаю, Нина. Я тебе отвечу, когда досчитаю.

Виктор посмотрел на окно. Папка стояла ребром, прислонившись к раме, и наклейка читалась от самой двери: «Отделение № 2. Условия и перечень услуг».

— Я папку не унесу, — сказал он. — Она тут полежит.

— Пусть лежит, — сказала мать. — Она мне не мешает. Я её не вижу.

— Ты её слышишь, — сказала Нина.

— Слышу. Она на окне шуршит, когда тянет.

Телефон в её ладони дрогнул — глухо, в два такта, и после третьего такта поверх дрожи вступила тонкая заводская трель. Дрожь дошла до подлокотника и до дерева под рукой.

Рука её не поднялась.

— Это он, — сказала она. — Второй раз.

— Второй, — сказал Виктор.

— Витя, возьми.

Ладонь раскрылась, и телефон остался в ней экраном и кнопками вверх, с царапиной на боку. Виктор взял его двумя пальцами, за края, и трель в его руке стала громче — он держал её не так, не прижимая к себе.

— Серёжа, — сказал он в трубку и отошёл к окну, и половица под ним дала низкий стон, и стекло в серванте тонко отозвалось. — Нет. Нет, сядь, где сидишь. Не про бачок.

Нина поднялась и встала у буфета, на своей половице, и та отозвалась коротким скрипом с провалом в середине.

— Это Нина, — сказала мать в кресле, тихо, себе.

У окна Виктор слушал. Мозоль у основания большого пальца прошла по краю папки, по вдавленному сухому углу, туда и обратно.

— В субботу, — сказал он наконец. — Нет. В субботу поздно, в субботу мне на смену в понедельник, и я отсюда в воскресенье уеду, и ты останешься один на один с Ниной, и вы вдвоём опять ничего не решите. — Пауза. — Да. Да, я прочитал. Там на второй странице мелким: семьдесят пять процентов пенсии и перечень за отдельную плату. Я тебе это не по телефону читать буду. Ты сядешь и сам прочитаешь.

Телефон отошёл от уха. Виктор посмотрел на него и прижал обратно.

— Серёжа. Я тебя не уговариваю. Я тебе говорю, как есть: мама отказалась. При мне и при Нине, сегодня, вслух. Нина с ней. Я против. Это два на один, а подписывать всё равно нам троим.

Во дворе плитка у второго подъезда стукнула дважды и замолчала.

— Хорошо, — сказал Виктор. — Хорошо. Жду.

Он дал отбой и постоял с телефоном в руке, и кнопки под его большим пальцем были тёплые от материнской ладони.

— Что он сказал? — спросила Нина.

— Сказал, посмотрит расписание.

— Это значит нет.

— Это значит суббота. — Виктор вернулся к креслу и вложил телефон в раскрытую ладонь матери, кнопками вверх, как он лежал. — Мам, держи. Он тебе перезвонит вечером, он так сказал.

Пальцы сомкнулись на телефоне. Большой палец нашёл царапину на боку и прошёл по ней.

— А вы с Ниной тогда что?

— А мы с Ниной до субботы вот так и будем, — сказал Виктор. — Ты туда не поедешь, и я с этим не согласен, и у нас на двенадцать—шесть никого.

— Витя.

— Что.

— Ты это сейчас сказал как решённое.

— Это не решённое. — Он опустился на венский стул, и подклеенная перекладина упёрлась ему в пятку сквозь носок. — Это то, с чем мы ляжем. Решать мы будем, когда Серёжа приедет. Без Серёжи мы всё равно не договоримся, мам. Нас двое, а голосов нужно три.

Звонок Сергею

Полотенце висело на гвозде сгибом к стене, и один угол у него был ниже другого на палец — после того, как его перевешивали в третий раз за день.

— Нина, — сказал Виктор из комнаты. — Ты звонить будешь или ты картошку будешь?

— Я картошку.

— Картошка стоит начищенная с утра.

Нож лёг на доску. В кастрюле держались восемь белых кусков, и один всплыл боком, повернулся и притёрся к бортику с коротким глухим стуком.

Телефон вышел из кармана передника — чёрный, с трещиной по левому углу стекла, заклеенной полоской скотча; скотч под подушечкой большого пальца был тёплый и чуть липкий по краю. Экран показал четырнадцать тридцать две.

— Я звоню, — сказала Нина в коридор.

— Иди сюда звони, — отозвалась мать из комнаты. — Я тоже буду слушать.

— Мама.

— Я тоже буду слушать, Нина.

Тапки без задников дошли до порога, обошли табурет с газетой носком, с нажимом по ножке, и встали на половице.

— Я вошла. С телефоном.

— Положи его на стол и включи, чтобы слышно было в комнату.

— Там громко плохо слышно, мама. Там хрипит.

— Пусть хрипит.

Клеёнка приняла телефон рядом с солонкой, экраном вверх; под стеклом осталось мокрое кольцо от картофельной воды. Папка стояла на подоконнике ребром, прислонённая к раме, и наклейка в правом верхнем углу держала на себе синее облачко расплывшихся чернил. Виктор сидел на венском стуле, подклеенная перекладина упиралась ему в пятку сквозь носок, подсохший за день до твёрдого.

Палец Нины прошёл по списку вызовов. Третья строка сверху: «Серёжа», и под ней серым — «пн, 8 мин».

Гудок пошёл первый. Длинный, с шипением в конце.

Второй.

На третьем в комнате стало слышно, как во дворе у второго подъезда стукнула плитка — один раз, потом через большой промежуток ещё.

Четвёртый гудок оборвался на середине.

— Да.

Голос вышел из телефона плоским, сжатым до жести, и в нём шёл задний фон: железо по железу, с перерывами, и чей-то далёкий окрик.

— Серёжа, это Нина.

— Я вижу, что Нина. Я на объекте, у меня тут кран ходит. Подожди.

Железо отодвинулось. Пошли его шаги — быстрые, по щебню, потом по бетону, и дыхание в самую трубку.

— Говори.

— Я тебе по маме.

— Витя мне вчера звонил по маме. И сегодня звонил. Два раза.

— Я знаю. Я тебе третий.

Пауза вышла в два такта. Пальцы матери в кресле пошли по обвязке пледа, палец за палец, и остановились на спущенной петле.

— Серёжа, — сказала она в сторону стола.

— Мама? Ты там?

— Я тут. Я в кресле. Ты громче говори, у меня телефон на столе, а я от стола в двух метрах.

— Я громче, — сказал голос из клеёнки. — Мама, у тебя бачок течёт?

— Течёт.

— Я в субботу привезу прокладку. Я у себя на объекте взял, она хорошая, силиконовая.

— Серёжа.

— Что.

— Мне не про бачок надо.

Железо во дворе объекта дало длинный скрежет и остановилось.

— Ладно, — сказал он. — Нина. По порядку. Что у вас там сегодня было.

Телефон подвинулся на два сантиметра к ней, чтобы говорить сверху; завязка передника свисла с одной стороны и легла на клеёнку.

— Витя привёз бумаги на пансионат. Под Клинцами. Мы их вчера читали по пунктам и сегодня дочитали. Мама отказалась. Сегодня, вслух, при нас обоих.

— Так.

— Витя не согласен.

— Я понял. Дальше.

— Дальше ничего. У нас в обычный день на двенадцать—шесть никого.

— Это что значит?

— Это значит, что я ухожу в восемь десять и возвращаюсь в двенадцать двенадцать, а потом в собес или в областную, и с двенадцати до шести тут пусто. Валя приходит два раза в месяц и за пирожки, и она ещё не сказала «да» на каждый день. Вот это и значит.

— А ночь?

— Ночь на мне, если я переезжаю. Я могу переехать.

— Куда?

— Сюда. Квартиру свою сдам.

Трубка молчала четыре секунды. В эти четыре секунды радиатор под окном щёлкнул и перешёл на верхнюю ноту, и ложка в стакане на табуретке пошла по ней мелкой дрожью, прислонившись к стеклу.

— Нет, — сказал Сергей.

— Что нет?

— Квартиру не сдавай. — Голос в телефоне стал ближе, и дыхание в него легло плотнее. — Нина, ты её три года держишь. Ты её сдашь на полтора года по договору, тебе туда зайдут с собакой и с ребёнком, и ты её потом будешь год приводить в порядок. Это не деньги. Это восемь тысяч минус ремонт.

— Восемь тысяч — это Валя пять месяцев.

— Валя — это три часа в день. Ты мне дыру с двенадцати до шести чем закроешь?

Два пальца подвинули солонку, которая стояла в своём светлом прямоугольнике двумя миллиметрами мимо. Солонка села, и крупинка соли осталась снаружи границы, на тёмном.

— Я ищу, — сказала Нина.

— Ты не ищешь. Ты уже два года находишь. Ты в июне Валю на свои четыре смены брала, ты в августе из областной пешком обратно шла, потому что на такси ушло на лекарства, и ты мне про это ни разу не сказала — я это от Вити по рублям собрал. — Щебень под его ногами пошёл опять, ветер один раз дунул прямо в микрофон, и в комнате от этого в телефоне зашипело. — Витя там?

— Тут, — сказал Виктор.

— Витя. Сколько сиделка?

— В нашем городе двадцать две. Я звонил в двух местах. Это с девяти до восемнадцати, без ночи, шесть дней.

— А с проживанием?

— С проживанием я не спрашивал.

— А почему ты с проживанием не спрашивал? — Голос из клеёнки поднялся на полтона и стал сухим. — Ты в Клинцы съездил сам, ты там батарею рукой держал, а в своём городе по телефону спросил два номера и успокоился.

Кулак Виктора сжался на клеёнке, на том жжёном кольце от кастрюли, и отпустил; в правом запястье отозвалось сухим мелким щелчком где-то в косточке. На клеёнке остался влажный отпечаток четырёх костяшек и стал подсыхать с краёв.

— Я позвоню и спрошу.

— Позвони. С проживанием будет дороже, но это не двадцать два плюс ночь. Это одна цифра. И ты её принеси, а не «я узнавал».

— Серёжа, — сказала мать. — Ты сейчас с Витей говоришь, а ты мне ответь. Ты зачем цифры собираешь?

— Чтобы знать, мама.

— Что знать?

— Сколько.

— А я тебе говорю: я никуда не еду. Я тут умру. Это у меня решено с третьего числа.

Телефон на клеёнке молчал. На объекте кто-то позвал его по фамилии — два слога, не разобрать, — и он отозвался в сторону, прикрыв трубку: сейчас, пять минут.

— Мама, — сказал он потом. — Я тебя оттуда никуда не вожу. Я тебя спрашиваю: ты тут умирать собралась одна или с человеком?

Пальцы её встали на обвязке.

— С человеком.

— Вот. Человек стоит денег. Я про это и спрашиваю.

— Я этого не знала, — сказала Мария Петровна. — Я думала, человек — это Нина.

Нож на кухне никто не брал. Он лежал поперёк доски, в воде от картошки, и вода с него стекла тонкой полосой и встала у края, не перейдя его.

Нина поднялась со стула. Дошла до буфета, встала на свою половицу, и половица отозвалась коротким скрипом с провалом в середине.

— Ты у буфета, — сказала мать.

— У буфета, мама.

— Ты там стоишь, когда тебе сказать нечего.

— Мне есть что сказать. — Руки прошли по переднику, снизу вверх, дважды. — Серёжа. Ты мне скажи одно. Ты приедешь когда?

— В субботу.

— В субботу у тебя прокладка.

— В субботу у меня прокладка и мама.

— В субботу поздно, — сказал Виктор. — Я в воскресенье уезжаю. У меня в понедельник в восемь на участке, и Лена на больничном по колену, ей второй месяц, и у неё в пятницу перевязка в поликлинике, на второй этаж без лифта, и её туда везу я.

— Так ты уезжай, — сказал голос из клеёнки. — Ты уезжай, а я приеду.

— И что ты сделаешь один?

— Я с ней поговорю.

— Мы с ней три дня говорим!

— Вы с ней три дня говорите вдвоём, — сказал Сергей. — И у вас выходит двое против одной и один против двоих, в любом порядке. Я не хочу приезжать в готовое.

Виктор поднялся. Стул отошёл, половица дала низкий короткий стон, и стекло в серванте тонко отозвалось — звук прошёл по зубам.

Голова матери повернулась к этому звону.

— Витя, — сказала она. — Ты встал.

— Встал.

— Сядь. Я тебя по звуку ищу, а у меня тут телефон на столе говорит, и я вас обоих складываю.

Стул вернулся в свои вмятины — передняя левая сразу, передняя правая после короткого шарканья.

— Сел.

— Сел, — повторила она. — Серёжа. Ты в субботу приедешь, а они до субботы тут что будут делать?

— Они будут сидеть и ничего не подписывать.

— Там нечего подписывать, — сказал Виктор. — Там заявление от неё самой, с её рукой. Без её подписи бумага мёртвая, я это у них переспросил.

— Ага. — Пауза. — А ты ей её подпишешь?

В телефоне щёлкнуло, и шипение переменило высоту: он вошёл в помещение, за ним закрылась железная дверь, и голос стал гулким.

— Повтори, — сказал Виктор.

— Я спросил: ты ей её подпишешь. Ты за неё.

— Я за неё ничего не подпишу.

— Это я и хотел услышать, — сказал Сергей. — Я это теперь услышал, и я это запомнил. И ты при мне это сказал, при Нине и при матери.

Между рамами на пожелтевшей вате лежали два августовских мотылька. Сквозняк из щели тронул того, что ближе к стеклу, и крыло у него поднялось и опустилось, и опять поднялось.

— Серёжа, — сказала Нина от буфета. — Ты сейчас с Витей разбираешься, а у меня суп на плите не поставлен и мама не кормлена с утра.

— Я три ложки съела.

— Три ложки, мама.

— Нина, — сказал телефон. — Ты меня слышишь?

— Слышу.

— Ты меня в чём-то обвиняешь.

— Я тебя ни в чём не обвиняю. Я тебя спросила, когда ты приедешь, и ты сказал «в субботу», и я записала.

— Ты не записала. Ты это в себя положила и носить будешь.

Левая рука Нины сомкнулась на кромке буфетной полки. Дерево в стыке скрипнуло, и сахарница с отбитым краем крышки, повёрнутая отбитым к стене, дрогнула и встала.

— Ты мне в сентябре звонил, — сказала она. — Я тебе тогда сказала, что у неё справка по инвалидности не переоформлена и что в областную надо везти за выпиской. И ты сказал: Нина, ты же ходишь.

— Я так сказал.

— Так.

— Я так сказал, потому что ты ходишь.

— Я хожу.

— И я тебе тогда денег предложил, и ты не взяла.

— Я не взяла.

— Почему не взяла?

Половица под ней отозвалась один раз, когда она переступила.

— Потому что ты их мне на дорогу предложил, — сказала Нина. — На бензин. Я тебе про выписку, а ты мне про бензин.

В телефоне стало тихо настолько, что в комнате опять выступил радиатор и вода в стояке за стеной.

— Ладно, — сказал Сергей. — Это ты правильно сказала. Это я себе возьму.

Обе ладони матери легли на подлокотники, пальцами вниз по изгибу дерева, правая — в выемку, продавленную локтем за пятьдесят с лишним лет.

— Серёжа.

— Мама.

— А у тебя в субботу что было?

— Ничего.

— У тебя в субботу что было, — повторила она. — Ты мне в субботу за восемь минут про бачок говорил и один раз сказал «я на той неделе занят». Значит, у тебя что-то в этой есть.

Дыхание в трубке прошло один раз целиком.

— В пятницу я Таню в область вожу, — сказал он. — К девяти тридцати, у неё направление. Я вторую неделю смену под это выменивал.

— А суббота?

— Суббота у меня была свободная, я поэтому и сказал суббота. Теперь не свободная: я в субботу Воронину дом по кровле обещал смотреть, он мне за это две смены закрывал. Я ему сегодня скажу, что не приеду, и он мне их не закроет.

— Значит, едешь.

— Едешь. — Железо у него там прошло по железу и встало. — Я только одно скажу, мама. Я приеду на два дня, а не насовсем. Я у вас сесть не могу. Если я один раз сяду, вы меня уже оттуда не поднимете, и считать будет некому.

— А если в пятницу вечером?

— В пятницу вечером я с области приеду в девять, мама. А оттуда до вас семь часов ехать.

— А если ты Таню отвезёшь и назад не поедешь, а ко мне?

Железная дверь у него там, в гулком помещении, открылась и закрылась снова, и кто-то прошёл мимо и бросил что-то в ящик, и этот ящик отозвался жестью.

— Это я не решу один, — сказал Сергей.

— А ты реши не один, — сказала Мария Петровна. — Ты Тане трубку дай и спроси.

— Она на работе до шести.

— Значит, в шесть спроси и мне в семь позвони.

Пальцы её прошли по обвязке — восемь шишечек от угла, спущенная петля, и после спущенной петли они пошли дальше и остановились на четвёртой.

— Витя, — сказала она. — Я тебя тоже спрошу. Ты в воскресенье уезжаешь.

— Уезжаю.

— А если Серёжа приедет в пятницу в десять вечера, ты до понедельника останешься?

Ладонь Виктора прошла по лицу снизу вверх. Щетина, третьи сутки не бритая, отозвалась под ладонью шорохом, и этот шорох был громче радиатора.

— У меня Лена, — сказал он.

— Я про Лену слышала. Я спросила про понедельник.

— В понедельник у меня в восемь на участке.

— Значит, нет.

— Значит, я сейчас выйду и буду звонить, — сказал Виктор. — Сначала Лене, потом мастеру. И я тебе через час скажу: да или нет. Я тебе не буду говорить «я постараюсь».

— Вот это ты хорошо, — сказала мать.

Телефон на клеёнке зашипел ровнее: Сергей там вышел обратно во двор, и за ним пошло железо по железу и далёкий окрик.

— Нина. Я ещё одно скажу, и это главное, и ты это Вите передай, если он выйдет.

— Я тут, — сказал Виктор.

— Хорошо. Тогда оба слушайте. Я приеду, и я своё внесу. Но я не буду вносить в воздух.

— Это как?

— Это так, что я не дам денег «на маму». Я дам денег на человека с именем, с часами и с ценой. Двадцать две у вас сиделка? Хорошо. Я хочу видеть, кто она, сколько у неё часов и кто ей платит в какой месяц. Я могу брать свой кусок. Я не могу брать всё, у меня кредит на машину до февраля, и я вам его показать могу, у меня график в телефоне.

— Я тебя про кредит не спрашивала, — сказала Нина.

— Ты меня про него и не спросишь. Ты про себя скажешь двадцать девять и замолчишь, и я потом буду три года ходить виноватый.

Рука Нины пошла к солонке и остановилась на полпути: солонка стояла ровно. Пальцы сжались в воздухе, вернулись и прошли по переднику, снизу вверх, дважды, и на ткани остался тёмный след от мокрых подушечек.

— Дальше, — сказала мать.

— Дальше время. Витя приезжает раз в сколько, мама?

Пауза держалась под радиатор.

— В прошлый раз он был в июне, — сказала Мария Петровна.

— В мае, — сказал Виктор.

— В июне, Витя. Ты в июне был, у меня тогда ещё окно от стены отличалось.

— В мае я тоже был. Я на два дня.

— Этого я не помню.

Телефон молчал.

— Вот, — сказал Сергей. — Значит так. Я предлагаю, чтобы мы сели в субботу — или в пятницу, если я выменяю, — и написали на одном листе три столбца. Кто сколько платит, кто какие дни приходит, кто какое решение подписывает. И под этим листом каждый поставит свою руку.

— Это бухгалтерия, — сказала Нина.

— Это бухгалтерия, да.

— Мама тебе не бухгалтерия.

— Мама мне мать, — сказал он. — А двенадцать—шесть у вас дыра, и в эту дыру никакие хорошие слова не влезают. Я вам тут сейчас могу час говорить, что я вас всех люблю. У вас после этого в дыре кто будет?

Нож на доске лежал поперёк, в своей полосе воды. Нина взяла его, вытерла о передник с обеих сторон и положила обратно, уже вдоль.

— Серёжа, — сказала она.

— Да.

— Ты только одно мне скажи. Этот твой лист в три столбца. Ты его к чему прикладываешь?

— К чему?

— К пансионату или к дому?

Шипение в телефоне шло ровно.

— Я его пока ни к чему не прикладываю, — сказал Сергей. — Я сначала хочу знать все три цифры. Клинцы — восемнадцать доплаты. Сиделка здесь — двадцать две без ночи, и ещё цена с проживанием, которую Витя узнает. И третья.

— Какая третья?

— А третья — это сколько у неё своего.

Пальцы матери сошли с обвязки и встали на подлокотниках.

— Чего своего? — сказала Нина.

— Пенсия у неё в зачёт идёт, это Витя читал. — Голос осел на полтона, и ветер один раз прошёл поверх него, смазав согласные. — И не только пенсия.

— Серёжа.

— Нина, я не сказал ничего. Я сказал: третья цифра есть, и она не наша с тобой, и считать её без матери я не буду.

— Тогда и не называй её по телефону.

— Я её и не назвал.

Папка на подоконнике держалась ребром у рамы, и наклейку было видно от самой двери: «Отделение № 2. Условия и перечень услуг».

— Я поеду сейчас в контору, — сказал Сергей. — У меня там наряды до пяти. Потом Таня в шесть. Я вам в семь позвоню и скажу: пятница в десять вечера или суббота в полдень. И до этого вы маму никуда не записываете, и бумаг никаких не носите, и в собес не заходите за выпиской.

— В собес я и так завтра не иду, — сказала Нина.

— Вот и не ходи.

— Я не из-за тебя не иду. У меня в областной талон на вторник.

— Хорошо. Я это тоже запомнил. Мама.

— Я тут.

— Я приеду и прокладку привезу.

— Привези, — сказала Мария Петровна. — Только ты её не вместо разговора привези.

Трубка выпустила короткий звук, не слово.

— Не вместо. В семь позвоню.

Экран на клеёнке погас, подержал в себе отражение потолка и стал чёрным.

Телефон перешёл в карман передника и лёг там ребром по бедру.

— Я вышел звонить, — сказал Виктор и поднялся. Половица дала низкий стон, стекло в серванте отозвалось в горле звенящей точкой. — Мам, я на лестницу. В подъезде ловит лучше.

— Куртку надень, там тянет.

— Я на пять минут.

— Куртку надень.

Куртка снялась с вешалки с шорохом; с её подола за день натекло на обувную полку и уже высохло пятно с жёсткими краями. Дверь пошла, задела полку, и замок отщёлкнул один раз.

Шаги встали на площадке. Через дверь было слышно, как он нажимает — долго, по одной цифре.

В комнате осталось двое.

На кухне кастрюля встала на плиту, газ взялся со второй спички. Пламя дало хлопок, коротко пустило серой и пошло ровным синим по всему кругу. Ладонь прошла над конфоркой, и венчик убавился.

Потом — порог, и с порога:

— Я вошла. Я суп поставила.

— Иди сюда.

Стул развернулся к креслу. Нина села на край, оставив между своей спиной и спинкой ладонь воздуха.

Правая рука матери пошла с подлокотника вниз, к табуретке. Ребро ладони прошло по табуретке от себя к себе, нашло блюдце, подняло его и положило рядом вверх дном. Стакан стоял на три сантиметра левее своего старого места, в мокром кольце.

Стакан поднялся. Три глотка ушли — вода стояла в нём с утра, тёплая, с привкусом железа от стояка, и после третьего глотка этот привкус остался на языке. Стакан вернулся точно в кольцо, и блюдце легло сверху.

— Нина.

— Да, мама.

— Серёжа сказал: третья цифра.

Радиатор держал свою ноту. Во дворе провезли детскую коляску по плитке, и плитка у второго подъезда отзывалась на каждый стык.

— Сказал.

— И он её не назвал.

— Не назвал.

— А ты её знаешь.

Пальцы Нины сошлись на кромке сиденья, и дерево в стыке скрипнуло.

— Мама, у тебя суп сейчас закипит, я пойду сниму.

— Он десять минут будет кипеть, ты картошку в холодную положила. — Голова матери повернулась к дочери и остановилась чуть мимо, левее плеча. — Нина. Вы меня продавать собрались?

— Что?

— Вы меня три дня при мне считаете. Восемнадцать, двадцать два, двадцать девять, восемь. Я эти цифры складываю, и у меня не сходится. У вас на меня таких денег нет. Ни у тебя, ни у Вити, ни у Серёжи с его кредитом до февраля. А вы всё равно считаете. Значит, у вас в уме лежит что-то, чего в цифрах нет.

Телефон под передником лежал ребром по бедру, и ладонь легла на него поверх ткани.

— Мама.

— Ты мне не «мама». Ты мне скажи: вы что-то продавать собрались без меня?

Кастрюля на кухне взяла первым звуком — крышка один раз приподнялась на пару и села обратно.

— Нет, — сказала Нина.

— Это ты за себя сказала.

— Это я за себя сказала.

Пальцы матери пошли по обвязке пледа, палец за палец, от угла. Восемь шишечек. Спущенная петля. И на спущенной петле они встали и остались.

Каша остывает

Диван отпустил спину двумя скрипами подряд. Будильника в этой квартире не было — был радиатор: верхнюю ноту он обычно брал около шести и держал до семи, и под эту ноту просыпался Виктор, а мать к этому часу уже не спала. Носки, снятые вечером и положенные на радиатор, высохли до коробка и на изгибе не гнулись — пришлось продавливать пятку большим пальцем, пока ткань не сдалась.

— Витя.

— Я тут, мам.

— Ты встал?

— Встал.

— Я по пружине слышала. — Голова её была повёрнута к окну, к серому прямоугольнику двора. — Ты мне теперь говори, куда идёшь.

— На кухню. Чайник.

— Там Нина чайник на правой задней держит. Он на левой не стоит ровно, у него дно поведённое.

В прихожей замок отщёлкнул два раза — ключом, снаружи, — и дверь пошла, задев обувную полку.

— Я, — сказала Нина. — Семь ноль две.

Разулась на коврике, встала в тапки, сняла с гвоздя передник и завязала его за спиной одним движением, не глядя. В левой руке у неё был пакет, и в пакете стукнуло стекло о стекло.

— Мама, я вошла. Я молоко принесла и хлеб.

— Слышу.

— Витя, ты на кухню не ходи, ты мне там не нужен.

Чайник остался на правой задней. Газ взялся со второй спички; пламя хлопнуло, пустило серой и пошло ровным синим по всему кругу. Ладонь прошла над конфоркой, и венчик убавился до половины.

Кастрюля с остатком вчерашнего супа отправилась в холодильник, который гудел с девяносто первого года. На её место встала маленькая, с толстым дном, и в неё пошла вода — на два пальца выше крупы.

— Витя.

— Что.

— Ты в комнате сиди и говори с ней. Она с шести не спит.

— Я с пяти сорока, — сказала мать из комнаты. — Радио время дало.

Кухня была два шага в ширину, и в этих двух шагах Нина поворачивалась не корпусом, а на пятках. Крупа пошла из банки — три горсти с небольшим, прямо рукой, без мерки. Соль — два щипка, и солонка вернулась в своё светлое пятно на подоконнике. Ложка легла в кастрюлю и осталась в ней.

На улице дворник начал пласт у второго подъезда, и лопата шла по мокрой плитке с перерывами, железом по камню.

— Нина!

— Да, мама.

— Ты капли переставила?

— Нет. Они на окне, слева от банки. Я их не трогала.

— Витя переставил.

— Я справа поставил, — сказал Виктор. — Папку.

— Папка твоя, а капли мои, — отозвалась мать. — Нина, проверь.

Шаги прошли в комнату. Пузырёк стоял слева от банки с физалисом, и сплющенный оранжевый фонарик лежал между пузырьком и стеклом, отломанным краем внутрь.

— На месте, мама.

— Я знаю, что на месте. Я хотела, чтоб ты посмотрела.

Передник прошёл шорохом по спинке венского стула. На клеёнке с выцветшими яблоками было одно жжёное кольцо от кастрюли, открытое, и в середине его подсохший отпечаток четырёх костяшек — вчерашний, с краями темнее середины.

Первым на кухне отозвалась каша: крышка один раз приподнялась на пару и села обратно.

— Витя. Табуретку с полотенцем.

Табуретка пошла через комнату в одной руке, и полотенце легло на неё сгибом к креслу — этому его научили в первый же день.

Тарелка вышла из кастрюли с паром. Нина несла её на вытянутых пальцах, за самый бортик, и на полпути переложила в полотенце.

— Мама. Каша. Снизу горячее обычного.

— Я знаю, Нина.

Ребро материнской ладони пошло по табуретке от себя к себе, нашло полотенце, прошло по сгибу, дошло до черенка. Пальцы обвели тарелку по краю, остановились на бортике, вернулись к ложке.

Первая ложка набралась наполовину.

Пар шёл ровно и ломался у её подбородка.

— Горячо, мам, — сказал Виктор.

Ложка встала на полпути.

— Я это и так вижу.

Слово это легло в комнату и осталось в ней. Радиатор щёлкнул и перешёл на верхнюю ноту.

— Я неправильно сказала, — проговорила Мария Петровна. — Я это чувствую. У меня над губой пар стоит.

Ложка дошла до рта и ушла пустой.

У стола Виктор взял с клеёнки ложку, чистую, оставленную Ниной от сахара, и постоял с ней. В пальцах держалось: черенок узкий, тёплый с того конца, где была ладонь.

— Мам, я подую.

— Не надо.

— Я на ложку подую и тебе подам.

— Витя.

А он уже стоял у табуретки, уже наклонился, и ложка его шла в тарелку, под самый бортик, с той стороны, где каша остывала первой.

Левая рука матери поднялась и легла на край тарелки.

— Нина, не лезь мне в тарелку.

Пальцы её сошли с бортика и прошли по тыльной стороне чужой кисти, по широкому суставу у большого пальца, по жёсткому волосу ниже костяшек.

— Витя. Ты. — Ладонь убралась. — Нина у буфета стоит, у неё половица под пяткой с краю отзывается, а сейчас она посередине хрустнула. И дышишь ты через рот.

— Я, мам.

— Не лезь мне в тарелку.

Между рамами на пожелтевшей вате сквозняк тронул крыло августовского мотылька, и крыло поднялось и опустилось, и опять поднялось.

— Я помочь.

— Ты мне в тарелку залез, и я теперь не знаю, где у меня масло.

Полотенце со спинки стула Нина взяла обеими руками. Сложила вдвое, потом ещё вдвое, и углы не сошлись — вылез язычок махры, сантиметра на два.

— Витя, — сказала она. — Отойди от табуретки.

— Нина.

— Отойди.

Ложка легла на клеёнку, поперёк жжёного кольца.

Два шага — и Нина на корточках у кресла. Её ложка вошла в тарелку с правого края, прошла по кругу, собрала масло со дна и вернула его в середину.

— Мама, масло я в серединку собрала. Там, где было. Больше в тарелку никто не лазил.

Пальцы матери остановились на бортике и постояли так.

— Ты ешь. Я тут, у правого колена.

— Я знаю, что у правого. У тебя передник трётся.

На кухне чайник начал дрожать и стучать о решётку — он не свистел с тех лет, когда у матери ещё был телевизор.

— Я сниму, — сказал Виктор.

— Сними. И не выключай, я потом заварю.

Газ прикрутился не сразу; вентиль плиты на малом шёл с люфтом, и пламя сначала ушло в точки, потом поднялось обратно.

Из комнаты шло: ложка о фарфор, с ровными промежутками, по четыре-пять секунд.

— Нина.

— Да, мама.

— Ты сама-то ела?

— Я чаю попью.

— Я спросила: ела.

— Я дома ела.

— Ты дома в шесть встала и в шесть двадцать вышла, у тебя тут в семь ноль две ключ был. Ты в эти сорок минут что ела?

Ложка о фарфор прошла ещё два раза.

— Я яйцо варила, — сказала Нина.

— Ты его съела?

Пауза держалась под радиатор.

— Оно у меня в кастрюле стоит, — сказала Нина. — Я его на вечер.

— Нина, — сказала мать. — Ты мне чай подай, я его к каше запью. И сама сядь.

Чашку Нина донесла на двух пальцах за ушко, поставила на табуретку правее блюдца и подождала, пока материнская ладонь дойдёт до неё сама.

— Чай. Полчашки, не больше. Кипяток, с краю не пей, пей через ободок.

— Я через ободок.

— Витя, — сказала мать. — Налей ей чаю тоже и хлеб ей отрежь. С маслом.

— Мама, я на работу в десять минут девятого.

— Сорок минут у тебя.

— У меня тридцать семь, и мне ещё тебя в уборную.

— Витя, ты режь.

Нож на кухне был один, с чёрной ручкой, и хлеб под ним пошёл неровно: первый ломоть толстый, второй тонкий, с перекосом. Масло из холодильника не намазывалось и шло комками, и комки оставались на корке горками.

Тарелка с этими двумя ломтями встала на стол, и рядом — чашка, в которую заварка легла темнее, чем нужно.

— Садись, — сказал Виктор и взялся за стол с торца. Стол пошёл по линолеуму на две ладони, с подвыванием ножки, и встал, когда край столешницы оказался над подлокотником кресла.

— Мама, я стол к тебе подвинул. Табуретку не трогал, она где была, у правого колена.

— Я слышала, как он шёл. Он левой ножкой цепляет.

Кресло Нина развернула сама, за спинку, тремя короткими толчками, пока мать не села лицом к клеёнке, и тарелка на табуретке осталась у того же колена.

— Руку на стол положи. Вот край, мама.

Ладонь матери прошла по клеёнке и остановилась у жжёного кольца, ребром к нему.

Виктор сел с того краю, который был ближе к креслу, так что между его локтем и табуреткой оставалась ладонь. Стул Нина придвинула к столу и села глубже, спиной прямо, локти на столешницу. Чашку взяла двумя руками, обхватив целиком, и держала так, не поднося.

Пальцы у неё были в мелких поперечных трещинах на подушечках, и на среднем правом лежал старый порез от ножа, заживший неровно. На костяшках, где вчера сорвался горячий вентиль, кожа подтянулась и стала глянцевой.

Ломоть надкусился с тонкого края.

— Нина, — сказала мать. — Ты жуёшь на одну сторону.

— У меня слева семёрка.

— Давно?

— С августа.

— А ты к кому ходила?

— Я не ходила.

Ложка в тарелке у кресла легла поперёк и больше не поднялась.

— Мама, ты половину съела.

— Я больше не хочу.

— Ты три ложки съела.

— Я семь съела. Я их считала.

Хлеб лёг обратно на тарелку. Рот Нина вытерла тыльной стороной кисти и поднялась — не сразу: сначала ладонь на столешницу, потом перенос, потом вверх.

— Я её подогрею.

— Не надо.

— Она остынет и загустеет, ты её потом не станешь.

— Я и так не стану, — сказала Мария Петровна. — Оставь её. Пусть стоит.

— Мама.

— Пусть стоит, Нина. Я на неё рукой нахожу, где у меня стакан.

Правая рука её сошла с подлокотника вниз, прошла по табуретке за тарелкой, нашла блюдце, подняла его и положила рядом вверх дном. Стакан стоял в своём мокром кольце, на три сантиметра левее старого места, куда его сдвинули в среду.

Три глотка ушли. Вода стояла в стакане с вечера, с привкусом железа от стояка, и после третьего глотка привкус остался на языке.

Стакан вернулся точно в кольцо. Блюдце легло сверху.

Масло в середине тарелки свернулось в неровное жёлтое пятно и начало застывать с краёв. Виктор смотрел на него.

— Я унесу, — сказал он и взял тарелку за бортик.

— Поставь.

— Мам, она холодная уже.

— Поставь на место. Ты её унесёшь, у меня там пустая табуретка будет, и я в неё рукой пойду и не пойму, за что держаться.

Тарелка вернулась. Не туда: на палец ближе к краю табуретки, и ложка на ней сдвинулась черенком к стене.

Ребро ладони матери прошло от себя к себе. Дошло до тарелки. Пошло по краю, искало черенок и нашло его с третьего раза, у самой стены.

— Вот, — сказала она. — Вот это ты сделал.

— Я поставил, как было.

— Ты поставил на палец ближе и ложку повернул.

Нагнувшись, Виктор подвинул тарелку на палец от края и повернул ложку черенком к матери. Пальцы его при этом тронули её пальцы — сухие, тёплые у основания и холодные к ногтям, — и она отвела руку.

— Теперь так, — сказала она. — Теперь не трогай.

У буфета, на своей половице, Нина переступила, и половица отозвалась под ней коротким деревянным вздохом.

— Ты у буфета, — сказала мать.

— У буфета.

— Ты там стоишь, когда тебе сказать нечего.

— Мне есть что сказать. — Руки прошли по переднику, снизу вверх, дважды. — Витя. Ты вчера весь вечер считал. Восемнадцать, двадцать два, двадцать девять. У тебя всё посчитано.

— Посчитано.

— А ложку ты повернул.

— Я ложку повернул, — сказал он.

— Вот это у вас и есть, у тебя и у Серёжи. Вы считаете тысячи, а поворачиваете ложки не в ту сторону. И вам кажется, что это мелочь.

— Это и есть мелочь, Нина.

— Это и есть вся работа! — Чашка в её руках пошла, и чай перехлестнул через край на передник, тёмным, и расползся по вытертой бумазее двумя рукавами. — Вся работа, Витя, вот эта. Полотенце сгибом к ней. Газета сгибом к двери. Стакан справа и на три сантиметра влево, потому что ты его в среду сдвинул, и я его не вернула, потому что она его уже там нашла и запомнила. Коврик я на двадцать сантиметров переложила — и она в тот день до уборной не пошла. Терпела. До меня. Вот это — работа. Ты её ни в один свой лист не впишешь, потому что её никто никогда не писал.

Чай с передника капнул на линолеум, одной каплей и потом второй. Вторая легла в шов между полотнищами и ушла в него.

Голова матери пошла на звук.

— Нина. Ты разлила?

— Разлила, мама.

— Вытри и сядь.

— Я сяду.

Полотенце со стула пошло по линолеуму, по двум каплям, и под ним осталось чистое пятно темнее остального пола.

На корточках, с полотенцем в руке, Нина так и осталась. Подол передника лёг на влажное место и впитал его обратно.

— Я тебе ещё скажу, — проговорила она, не поднимая головы. — Я вчера в автобусе заснула.

— В каком автобусе?

— В шестом. Я из собеса ехала, четыре остановки. Я села и проснулась на конечной, у молокозавода. Это две лишние. Я обратно пешком шла, двадцать минут, и у меня в голове было одно: что я у неё капли в двадцать не закапала, а было четверть второго.

Радиатор держал свою ноту.

— И вот этого я боюсь, Витя. Я вот так же сяду в двенадцать и открою глаза в три. А она в это время встанет к стакану, и я не услышу, как она упадёт.

У стола правая ладонь Виктора легла на левое запястье и сжала, и под пальцами косточка отозвалась сухим мелким щелчком.

— Нина.

— Что.

— Я тебе сейчас одно скажу, и ты меня не перебивай. — Пальцы разжались, и на запястье остались четыре белые полосы, которые медленно налились обратно. — Я за эти три дня понял, что я не знаю, как её кормить. Я ей в тарелку залез. Я ей ложку повернул. Я ей стул в среду подвинул на миллиметр, и она меня по стуку поймала. И я вот тут хожу третий день и порчу то, что ты два года ставила.

— Витя.

— Нет, я кончу. — Он не сел. — И поэтому я тебе и говорю про Клинцы. Не потому, что там тепло и клён. А потому, что там это записано. Там в шесть сорок приходит санитарка, и ей это написано в листе: Мария Петровна, тарелка за бортик, ложка справа, черенок к ней. И если одна заболела, приходит вторая и читает тот же лист.

— Там нет такого листа, — сказала Нина.

— Я спрошу, есть ли.

— Ты спроси. — Полотенце она отжала в кулаке, и с него вышло на линолеум ещё, тремя струйками между костяшками. — А я тебе скажу, что в том листе не напишут, что у неё правый подлокотник ниже левого.

Ложка на тарелке у кресла лежала теперь правильно, черенком к матери, и каша под ней встала плотной пластиной с жёлтым пятном в середине. По краю пластины отошла от фарфора серая кромка.

На столе, рядом с чашкой, телефон Нины дрогнул по клеёнке — глухо, в два такта, и после третьего такта поверх дрожи вступила тонкая заводская трель.

— Это Валя, — сказала мать.

Трель прошла ещё раз.

— Нет. — Голова её повернулась на четверть. — Это Серёжа. У Вали аппарат другой дрожит, у неё подольше.

— Серёжа.

— Я по тебе узнала, Нина. Ты замолчала на полуслове.

Телефон Нина взяла, посмотрела на экран и положила обратно на клеёнку, экраном вверх, и нажала сбоку.

— Серёжа, ты на громкой. Мама слушает.

— Я вижу, что мама слушает. — Голос вышел из телефона плоским, сжатым до жести, и за ним шло: мотор на холостых, поворотник, щётка по лобовому стеклу. — Мама, ты там?

— Я тут. Я в кресле.

— Я в машине. Я Таню в область везу, у нас в девять тридцать. Я вам в две минуты.

— Говори.

— Я сегодня приеду. В десять вечера, может, в половине одиннадцатого, если на объездной не встану. Воронину я вчера сказал, что не приеду, он мне смены не закрыл. Нина.

— Я тут.

— Ты дверь мне открой сама, не мать. В десять вечера она к двери не ходит.

— Я открою. Я буду до одиннадцати.

— Ты до одиннадцати не будешь, ты в полдвенадцатого домой уйдёшь и в семь придёшь. — Щётка прошла по стеклу дважды, и на втором ходу взвизгнула насухо. — Ты сегодня ночью ночуй у себя. Я приеду и сяду.

— Ты сядешь?

— Я на одну ночь сяду. Я на диване. Витя там?

— Тут, — сказал Виктор.

— Витя, вот что. Ты мне до вечера одно сделай. Ты мне напиши лист.

— Какой лист.

— Расходы. — Поворотник щёлкнул и выключился. — Не доплату в Клинцы, её я знаю. Я хочу знать, сколько она стоит там, где она сейчас сидит. За месяц. Всё.

— Что всё?

— Всё, Витя. Квартплата. Свет. Телефон. Лекарства, по названиям и по ценам. Капли эти её, сколько пузырёк и на сколько дней хватает. Валя, сколько ей выходит, хоть пирожками, пирожки тоже в деньгах. Такси в областную и обратно. Пелёнки, если есть пелёнки. Лампочки. Прокладка на бачок, я её везу, она триста сорок.

— Это я к вечеру не соберу.

— Собирай сколько соберёшь. Но ты к вечеру мне положи лист, и в нём чтоб каждая строчка была с цифрой, а не «ещё по мелочи».

Телефон лежал на клеёнке, и Нина смотрела на него, на рыжее пятно от утюга рядом с ним.

— Серёжа.

— Да.

— А кто тебе это скажет? Цены эти.

— Ты.

— Вот, — сказала Нина.

— Что «вот»?

— Ничего. — Чашку она взяла и поставила обратно, не выпив; на клеёнке остался мокрый круг. — Ничего, Серёжа. Я скажу. Я их и так наизусть.

— Я знаю, что ты наизусть. Я поэтому и говорю Вите писать, а тебе говорить. Потому что ты их два года наизусть держишь, и они оттого нигде не лежат.

Из телефона пошёл второй голос, женский, неразборчиво, и Сергей ответил в сторону: сейчас, два поворота.

— Мама.

— Я тут.

— Я в десять вечера.

— Приезжай, — сказала Мария Петровна. — Только ты в десять вечера не начинай мне считать. Я в десять вечера капли приняла и спать хочу.

— Я не буду считать в десять. Я в десять прокладку поставлю.

Экран на клеёнке погас, подержал в себе отражение потолка и стал чёрным.

Телефон перешёл в карман передника и лёг там ребром по бедру.

Часы над дверью были без стрелок с весны, рама со стекла снята, и внутри, на циферблате, лежала скрученная резинка.

— Витя, сколько?

— Без двадцати восемь.

— Мама, пойдём.

Кресло отпустило её в три приёма: сначала обе ладони в выемки на подлокотниках, потом корпус вперёд, потом Нинино предплечье под её правую кисть.

— Я беру тебя под правую, — сказала Нина.

— Бери.

— Встали. Стоим. Я не тяну.

Они пошли. Три шага до двери, порожек на половину ладони, и на этом порожке Мария Петровна приподняла ногу выше, чем нужно, и опустила её мимо, на край.

Корпус у неё пошёл влево. Нина увела своё плечо под этот крен, и обе встали.

— Я тут, — сказала Нина. — Я тебя держу. Ты стой и дыши.

— Я стою.

В коридоре пахло обувью и мокрой штукатуркой с лестницы.

— Нина.

— Да.

— Это я нога не послушалась. Это не порожек.

— Я знаю.

— Ты Вите не говори.

— Я тут, мам, — сказал Виктор из комнаты.

Молчание держалось три такта радиатора.

— Ну и слушай, — сказала мать. — Ну и пиши в свой лист.

Они ушли. Дальше были звуки: вода в бачке, который течёт, вентиль, который срывается на половине оборота, короткий плеск в раковину, полотенце с гвоздя.

В комнате остался один Виктор.

Папка стояла на подоконнике ребром, прислонённая к раме, рядом с банкой и пузырьком. Мокрый угол её высох и остался вдавленным, с бугром по линии сгиба. Наклейка в правом верхнем углу держала на себе синее облачко расплывшихся чернил и читалась от самой двери: «Отделение № 2. Условия и перечень услуг».

Резинки сошли с углов. Пружина скоросшивателя разжалась с металлическим вздохом.

Первый лист — типографский, с водяным гербом. Второй — четвертушка с косым чужим почерком и припиской в три слова внизу: «спросить Г. И.»

Третий был сложен вдвое и до сих пор не разворачивался.

Лист оказался в две колонки, и наверху стояло: «Перечень услуг, оказываемых за отдельную плату». Дальше шли строки, и у каждой справа стояла цифра. Стрижка — сто пятьдесят. Выезд сестры по району — шестьсот. Стирка личных вещей, за килограмм — сорок. Сопровождение на госпитализацию — восемьсот. Санитарно-гигиенические процедуры сверх нормы — по тарифу. Абонентская плата за холодильник в комнате — двести.

Строки «ложка справа, черенок к ней» в этом листе не было. Строки «полотенце сгибом» не было. Строки «стакан на три сантиметра левее» не было.

Из уборной пошёл шум воды, и после него — голос матери, ровный, в сторону коридора: Нина, ты мне рукав не закатывай, я его сама.

Лист лёг на стол. Не на жжёное кольцо: кольцо было занято, там стояла тарелка, снятая с табуретки, пока их не было.

Каша в ней уже держала форму тарелки. Масло застыло неровным жёлтым пятном, и от края пятна к бортику шла сухая трещина.

Бумага легла рядом, вплотную, краем к краю.

Тапки без задников дошли до порога, обошли табурет с газетой носком, по ножке, и встали на половице.

— Мы вошли, — сказала Нина. — Обе.

Потом она увидела стол.

— Витя. Ты тарелку зачем унёс?

— Я верну.

— Ты её уже унёс.

— Я верну, Нина.

Мария Петровна стояла в дверях, держась за её предплечье, и голова у неё была повёрнута к столу — на звук или на память.

— Что там у вас?

— Тарелка твоя на столе, — сказала Нина. — И бумага рядом.

— Какая бумага?

Ответа сразу не было. Радиатор щёлкнул и перешёл на верхнюю ноту, и ложка в стакане на табуретке пошла по этой ноте мелкой дрожью, прислонившись к стеклу.

— Это из папки, мам, — сказал Виктор. — Это у них список того, что за деньги отдельно. Я его вчера не читал.

— И что там?

— Там стрижка сто пятьдесят. Там стирка по сорок за килограмм. Там холодильник двести в месяц.

— А ложка?

— Ложки там нет.

Пальцы матери сошли с Нининого предплечья, нашли спинку венского стула и легли на неё.

— Вот и положи его туда, где он лежит, — сказала Мария Петровна. — К каше. И пусть они там рядом полежат до Серёжи.

Порядок вещей

Рулетка нашлась в сумке, под пустым пакетом из-под хлеба, — жёлтая, с облупленным боком и прикушенным кончиком ленты. Пружина внутри щёлкнула, когда из корпуса вышло двадцать сантиметров и ушло обратно с визгом. Металлическая кромка оставила на подушечке большого пальца белую полоску.

— Это что? — сказала Мария Петровна из кресла.

— Рулетка.

— Зачем она тебе у меня?

— Я хочу пройти по квартире и записать, где у тебя опасно.

Радиатор держал свою ноту. Лист с перечнем услуг лежал на клеёнке рядом с тарелкой, край к краю, и каша в тарелке стояла плотной пластиной, и жёлтое пятно масла в середине её уже не блестело.

Из кухни пошла вода — Нина наливала кастрюлю под струю, и струя била в донце с жестяным звоном.

— Нина! — позвал он. — Иди сюда на пять минут.

Вентиль дошёл до упора, сорвался на половине оборота, дал в раковину короткий плеск. Тапки без задников прошлёпали по коридору, обошли табурет с газетой носком, по ножке, и встали на пороге.

— Я вошла. С мокрыми руками.

— Я хочу обойти квартиру. С рулеткой и с бумагой. Кухня, коридор, уборная. Я буду писать, где у неё риск.

Полотенце со спинки стула Нина взяла обеими руками, и на махре остались два тёмных отпечатка ладоней. Сложила вдвое, потом ещё вдвое, и углы не сошлись — вылез язычок махры, сантиметра на два.

— Хорошо, — сказала она.

Рулетка легла на стол, кончиком ленты внутрь, и карандаш вывел поверху листа первое слово.

— Я дам. — Полотенце легло на спинку. — Ты пиши. Только ты пиши в два столбца.

— Какие два.

— В первом — где опасно. Во втором — что за это держится.

Мария Петровна положила обе ладони на подлокотники, пальцами вниз по изгибу дерева.

— Вы что, меня мерить пошли?

— Квартиру, мам.

— Квартира у меня тридцать один год, Витя. Я её мерила ногами. Она от кровати до стены полтора моих шага.

— Я в сантиметрах хочу.

— А я в своих шагах хожу. Ты мне сантиметры на пол положишь?

Стул отошёл от стола. Половица под ним прошла двойным глухим стуком через шов.

— Я с вами пойду, — сказала мать.

— Сиди, мама.

— Я с вами пойду. Вы там без меня начнёте двигать.

Подъём занял три приёма: обе ладони в выемки на подлокотниках, корпус вперёд, потом Нинино предплечье под её правую кисть. Кресло выдохнуло пылью из-под чехла.

— Я беру тебя под правую.

— Бери.

— Встали. Стоим.

Порожек на выходе из комнаты был на половину ладони. Нога пошла к нему носком, нащупала, поднялась, встала за ним — и крен вправо выровнялся сам, потому что левая рука легла на обмотанный угол шкафа, туда, где серые языки отошедшего скотча свисали до самой кромки. Языки качнулись и прилипли к тыльной стороне кисти.

В коридоре пахло обувью и мокрой штукатуркой с лестницы. Куртка Виктора висела на втором гвозде, и под ней на обувной полке лежало сухое пятно с жёсткими краями.

Листок — четвертушка от типографского бланка, оборотной стороной вверх — лёг на край полки. Карандаш пошёл по нему: сверху слева «опасно», сверху справа черта, и за чертой пусто.

— Первое, — сказал Виктор. — Табурет.

Табурет стоял в коридоре на полпути, у стены, и на нём лежала газета, сложенная вчетверо, сгибом к двери.

— Он тут в проходе. Коридор у тебя шириной... — лента вышла с визгом, легла от плинтуса до плинтуса, — девяносто четыре. Табурет отъедает тридцать пять. Остаётся пятьдесят девять, а тебе надо проходить с рукой по стене.

— Я прохожу.

— Ты его носком каждый раз пробуешь. Я видел.

— Я его пробую, потому что я его ищу, — сказала мать.

Карандаш встал.

— Как это ищешь?

— Нина.

— Я тут.

— Скажи ему.

Позади, у двери в комнату, половица под Ниной ничего не отвечала — в коридоре половиц не было, линолеум на мастике, с двумя полотнищами и швом посередине.

— Он у неё отметка, Витя, — сказала она. — Коридор длинный, восемь шагов. Она от комнаты идёт по стене, и у неё на четвёртом шаге табурет. Если табурет есть — значит, она дошла до половины и дальше дверь в уборную справа. Если табурета нет, у неё в коридоре нет ничего.

— А газета?

— А газета сгибом к двери. По сгибу она понимает, с какой стороны дверь.

Лента вернулась в корпус рывком и прищемила палец. Костяшки на правой руке Виктора побелели в четырёх местах и медленно налились обратно, и под ногтем указательного осталась красная нитка.

— Это я понимаю, — сказал он. — Я всё равно пишу. Я пишу: табурет в проходе, пятьдесят девять остаётся. И справа, во второй столбец: отметка на четвёртом шаге, не убирать.

— Вот, — сказала Нина. — Теперь ты пишешь.

Уборная была за дверью, которая не закрывалась до конца: от сырости повело полотно, и внизу оставалась щель на палец. Выключатель снаружи, слева, и под ним на обоях вытертое светлое пятно от ладоней — чужих ладоней, не её.

— Мама, я свет зажёг, — сказал Виктор.

— Мне-то зачем.

— Я себе.

Кафель на полу был в четыре плитки шириной. Три из них держались, четвёртая, у стояка, качалась под пяткой с глухим деревянным звуком, и по шву вокруг неё шла серая дорожка затирки, вымытая до основы.

Нога Виктора нажала на неё дважды. Плитка отдала в колено, в пятку, в самый низ живота.

— Плитка.

— Она ходит, — сказала мать от двери. — Она у меня с осени ходит.

— Ты по ней наступаешь?

— Я на неё наступаю правой, когда разворачиваюсь к раковине. Она подаётся, и я по ней знаю, что я встала правильно.

Карандаш пошёл в оба столбца сразу.

Над раковиной держалась полка — пластмассовая, на двух шурупах, и один шуруп вышел из дюбеля наполовину, так что правый край полки просел на сантиметр. На полке стояли: стакан с зубной щёткой, мыльница с остатком мыла, тюбик, свёрнутый с конца и перехваченный скрепкой, и пузырёк с притёртой пробкой, в котором ничего не было.

Бачок капал. Не в чашу — по наружной стенке, и под ним на кафеле стояла тряпка, сложенная в четыре слоя, тяжёлая, с бурым разводом по кромке.

— Серёжа прокладку в десять вечера привезёт, — сказала Нина.

— Это я написал ещё утром.

Пальцы матери дошли по наличнику до его конца и сошли на пустоту.

— Витя. Ты в уборной стоишь?

— Стою.

— Выйди. Мне там тесно вдвоём.

Коридор принял обоих. Плечом в проёме Виктор задел наличник, и дверь осталась открытой на ширину тела, и щель под ней тянула холодом от стояка — холод шёл по голени вверх, до самого колена.

— Второе, — сказал Виктор уже в кухне. — Плита.

Кухня была два шага в ширину. Вентили на плите стояли в ряд, четыре, и у второго слева отломился ободок, и вместо него на штоке держалась накрутка из синей изоленты, затянутая до блеска.

Спичечный коробок лежал на подоконнике, в светлом пятне, между солонкой и банкой, и из коробка торчали четыре спички головками наружу — наготове.

— Ты сама газ зажигаешь?

— Зажигаю.

— Этот вентиль с люфтом. Пламя на малом распадается в отдельные точки, а потом поднимается обратно по всему кругу. Я это утром видел.

— Оно садится и поднимается, — сказала мать. — Я его на слух держу. Там, когда он на малом, он шипит ровно. А когда он сорвался, он шипит без хлопка, и тогда я вентиль обратно и спичку новую.

— А если он сорвался, а ты не услышала?

— Тогда я его понюхаю.

— Мам.

— Я нюхаю, Витя. У меня нос работает. — Ладонь её легла на край плиты, на белую эмаль, и прошла по ней до самой решётки, собрав на мизинец серый налёт. — Я тут с семьдесят восьмого года варю. Я тут пригорелое молоко нюхаю, которого двадцать лет нет.

Карандаш в правом столбце написал: слух, запах, четыре спички головками наружу.

В левом — ничего.

— Витя, — сказала Нина. — Ты газ не пиши.

— Я его обязан написать.

— Пиши. Но ты рядом напиши, что я ей в семь утра плиту зажигаю и в двадцать проверяю вентили рукой, все четыре. И что она сама варит один раз в неделю, в воскресенье, когда меня нет.

— Я варю в воскресенье, — подтвердила мать.

— Что ты варишь?

— Яйцо. Я его ставлю в холодную и считаю до двухсот.

Свет из окна лежал на клеёнке плоской серой полосой, без блеска. Во дворе шёл кто-то с пустой тележкой по мокрой плитке, и плитка у второго подъезда отзывалась на каждый стык.

Между рамами, на пожелтевшей вате, лежали два августовских мотылька. Один из них с утра перевалился на бок и больше не двигался; у второго сквозняк поднял и опустил крыло, и опять поднял.

— Третье, — сказал Виктор. — Стул.

Венский стул у стола стоял передними ножками в двух вмятинах. Левая сидела в своей ободом, правая — краем, на миллиметр мимо.

Рука его легла на спинку и подняла стул на два пальца от пола. Лак на гнутой спинке был тёплый с той стороны, где его грел радиатор.

Стул пошёл к стене — туда, где между буфетом и углом было свободно, и где никто бы на него не наткнулся.

Половица у буфета ответила. Нина встала на неё и стояла.

— Витя.

— Я его на полметра.

— Поставь, где был.

— Нина, он у неё между столом и дверью. Она от стола идёт и задевает его бедром.

— Она его бедром не задевает. Она его бедром находит.

Голова матери повернулась на звук — не к ним, к буфету, где только что скрипнуло.

— Вы стул двигаете, — сказала она.

Тишина держалась два такта радиатора.

— Я двигаю, — сказал Виктор.

— Поставь.

— Мам.

— Витя. Поставь, где он стоял, и больше его не бери в руки.

Передние ножки встали обратно. Левая — в вмятину ободом, сразу. Правая — после короткого шарканья, мимо, и Нина прошла три шага, присела на корточки и подвинула её двумя пальцами. Колени её щёлкнули на подъёме.

— Поправила, — сказала она.

— Спасибо.

Карандаш над листком висел и не шёл.

— Я тебе теперь скажу, — проговорила Мария Петровна, — почему я тебе не дала.

— Скажи.

— Я у тебя в столбце не стул. Я у тебя — четыре предмета на восемь шагов. Шкаф с обмоткой, табурет, плитка в уборной, стул у стола. И больше у меня в квартире нет ничего. Остальное — воздух.

— Там ещё холодильник.

— Холодильник пятый, и он гудит, он сам говорит, где он. А эти четыре молчат. И если ты один из них отодвинешь на полметра, у меня в этом месте будет не полметра. У меня будет вся квартира незнакомая.

Лист с двумя столбцами лёг на клеёнку, рядом с перечнем услуг, и оба листа оказались впритык, край к краю, и в правом столбце было написано вдвое больше, чем в левом.

— Я записал, — сказал Виктор. — Я записал и это.

— Ты записал, а рулетку свою в сумку убери.

— Я ещё коридор не домерил.

— Домеряй без меня, — сказала мать. — Нина, я в уборную.

— Идём. Я под правую.

— Прочитаю.

Клеёнка под листом была липкой у самого края, и, чтобы поднять бумагу, пришлось отжать её ногтем. Перечень услуг снизу поехал вместе с ней и встал наискось.

— Слева у меня — опасные места, — сказал Виктор. — Порожек в комнату. Четвёртая плитка в уборной. Полка над раковиной. Вентиль второй слева. Табурет в коридоре. Тряпка под бачком. Шнур от торшера.

— Шнур я знаю. Он у меня под плинтусом с мая.

— Он под плинтусом не весь. Он у розетки петлёй.

— Петля там всегда. Я в эту петлю тапком не влезаю, я её обхожу по плинтусу.

Карандаш лёг на лист сломанным концом, и пыль из деревянной воронки осыпалась на бумагу серой запятой.

— Справа — чем ты пользуешься, — продолжил он. — Четыре стула и холодильник на кухне. Серая полоса по стене в коридоре. Четыре кольца под табуретом. Сгиб газеты. Наличник у порожка. Четвёртая плитка — звук. Бачок — напор и клапан. Половица у серванта.

— Половица у серванта, — повторила мать. — Она у меня вторая от ковра. Дальше я по ковру и пальцами ищу подлокотник.

— Я это не записал.

— Запиши.

Грифель был тупой, и буквы выходили толстыми, с нажимом, и под «ковёр» на листе протёрлось до волокон.

— Записал.

— Теперь читай, что ты из левого вычёркиваешь.

Горло у него пошло сухо, и пришлось сглотнуть, прежде чем выговорить.

— Плитку. Полку. Табурет. Порожек.

— Порожек тоже?

— Порожек тоже. Угол обмотан, обмотка твоя, ты по ней рукой находишь, где встать. Я хотел его состругать заподлицо.

— Ты его состругаешь, и я войду в комнату и не узнаю, что я вошла.

Во дворе машина у второго подъезда дала задний ход, и плитка под колесом стукнула дважды.

— Остаётся тряпка, вентиль и шнур, — сказал Виктор. — Тряпку я уберу с прокладкой, вслух. Вентиль я трогать не буду до того, как ты его рукой запомнишь по-новому. Шнур заведу под плинтус только при тебе, и петлю оставлю там, где ты её тапком обходишь.

— Это уже разговор, — сказала Мария Петровна. — Четыре вычеркнул, три оставил. Из семи.

— Из семи.

— А ты сюда с семью ехал.

— Я сюда с семью ехал и с изолентой.

Нина у окна отвернула занавеску на ладонь, и в комнату легла полоса, и в этой полосе пыль над листом стояла неподвижно.

— Третий столбец, — сказала она.

— Пишу.

Лист пришлось развернуть боком, потому что справа места не было, и третий столбец пошёл вдоль края, поперёк первых двух, тесно.

— Кто спросил. Кто разрешил, — прочитал он вслух, пока писал. — Тряпка — спросил я, разрешила мама. Вентиль — спросил я, не разрешено до проверки рукой.

— Пиши дальше, — сказала мать. — Рулетка — не спросил.

Грифель встал.

— Пиши, — повторила она.

— Рулетка — не спросил. Табурет — не спросил.

— Вот теперь это лист.

Бачок в уборной снова тронулся, сам, без слива — тонким свистом в одну нитку, и свист шёл секунд десять, и клапан сел.

— Он так каждые два часа, — сказала Нина.

— Я Серёже позвоню сегодня.

— Позвони, он до семи.

Сервант был высокий, и верхняя полка его за стеклом стояла в тени от шторы, и на стекле в двух местах оставались следы ладоней — низко, на уровне бедра.

Мать развернула голову на звук его шагов.

— Ты к серванту пошёл.

— Я на вторую половицу наступил.

— Ты на вторую наступил и дальше по ковру. Ты у стекла.

— Я у стекла.

— Там ничего не трогай. Там у меня справа часы лежат, которые не ходят, и за ними коробка от термометра, и слева фотография в рамке, где отец на лодке. Я до них рукой дохожу через щель, щель двенадцать сантиметров, я её не меняю.

Стекло отошло с сухим скрипом по пазу, и щель стала двенадцать.

Часы лежали справа, плашмя, циферблатом вверх, со стрелками на без четверти четыре. За ними — картонная коробка с выдавленным по боку делением шкалы. Слева — рамка, и в рамке мужчина в кепке, на борту, с веслом поперёк колен.

А между часами и коробкой стояла чашка. Белая, с зелёным ободом и щербиной на ободе, донышком в ровный серый круг пыли.

— Мам.

— Что.

— У тебя на верхней полке чашка стоит. Щербатая.

— Я её туда вчера после чая убрала, чтобы не биться, — сказала мать. — Пустую.

— Пустая, — подтвердил Виктор, не беря её в руки. Внутри по стенке шёл коричневый ободок старой заварки, снаружи под донышком лежал серый войлок пыли толщиной с бумагу.

— И не двигай её, — сказала мать. — Я туда рукой дохожу через щель.

Стекло село обратно в паз, и щель осталась на двенадцати.

Листок поднялся с клеёнки — с того места, где он лежал краем к перечню услуг.

— Слева, после вычеркнутого: бачок течёт, под ним тряпка. Вентиль второй слева с люфтом. Шнур от торшера, петля у розетки. Табурет, плитка, полка и порожек из левого ушли.

— Теперь справа.

— Справа: табурет — отметка на четвёртом шаге. Плитка — отметка для разворота к раковине. Вентиль — на слух и на запах, четыре спички в коробке головками наружу. Порожек — переход, она его носком берёт. Угол шкафа — поворот, он обмотан. — Бумага подалась в пальцах и выпрямилась обратно. — И последнее справа: ничего не двигать без неё.

— А тряпка?

— Тряпка в обоих столбцах. Тряпку я убираю, когда будет прокладка, и я тебе скажу вслух в тот день.

Пальцы матери пошли по обвязке пледа, палец за палец, от угла. Восемь шишечек. Спущенная петля. На ней они встали и постояли.

— Вот это лист, — сказала она. — Утром у тебя был другой.

— Утром у меня был один столбец.

— Я знаю. Я его слышала.

Край стула принял Нину так, что между её спиной и спинкой осталась ладонь воздуха; руки легли на колени, ладонями вниз. Костяшки правой отошли от белого.

— Я одно скажу, — проговорила она. — Витя, ты из этого сделаешь, что тут жить нельзя.

— Я из этого делаю, что тут нельзя жить одной.

— Это одно и то же.

— Это не одно и то же, — сказал он. — В Клинцах у неё будет кровать, тумбочка и окно, и ни одного предмета, который она сама себе поставила. Я это сегодня в коридоре увидел. Я у неё стул от стола на полметра отодвинул, и у неё кухня кончилась.

Голова матери повернулась к нему.

— Витя. Ты сейчас мою сторону сказал.

— Я сказал, что я видел.

— А свою ты не отменил.

— Свою я не отменил, — сказал он. — У меня там, в этой моей стороне, одно: в четверг с вечера до утра в этой квартире никого. И от табурета это не лечится.

Радиатор щёлкнул и перешёл на верхнюю ноту. Ложка в стакане на табуретке пошла по этой ноте мелкой дрожью, прислонившись к стеклу.

— Я тебе за стул не спасибо скажу, — сказала Мария Петровна. — Я тебе за то, что ты его в вмятину вернул по моему голосу, скажу. Ты его три раза вёл и спрашивал.

— Четыре.

— Четыре, — согласилась она. — Нина так делает. А ты так утром не делал.

Остывшая каша и подсохший у радиатора плед держались в воздухе вместе. Масло в тарелке застыло совсем, и по краю пластины отошла от фарфора серая кромка.

— Я на кухню, — сказала Нина. — У меня суп двадцать минут стоит невключённый.

— Иди.

— Мама, я на кухне. Я буду громко говорить.

— Говори.

Спичка взялась со второго раза. Пламя хлопнуло, пустило серой и пошло ровным синим по всему кругу, и из кухни потянуло разогретой эмалью.

На пороге Нина остановилась.

— Витя. Ты в уборную зайди ещё раз.

— Зачем.

— Ты полку мерил. Ты на ней ничего не трогал?

— Я на ней не трогал.

— Тогда зайди и посмотри.

Свет в уборной горел с того раза. Полка над раковиной просела правым краем на свой сантиметр, и на ней стояли: стакан с зубной щёткой, мыльница, тюбик со скрепкой, пузырёк с притёртой пробкой.

И слева от стакана, у самой стены, в мокром кольце, лежал наперсток.

Металлический, с протёртым до меди верхом, с вдавленными точками по боку, и в одной из точек держалась белая нитка, обрезанная коротко.

— Мам.

— Что.

— У тебя в уборной на полке наперсток.

Пальцы на обвязке встали.

— Он у меня в коробке, — сказала Мария Петровна. — В шкафу, с пуговицами.

— Он тут. Слева от стакана.

— Нина!

— Я тут, мама, я у плиты.

— Ты наперсток в уборную носила?

Нож на доске лёг поперёк. Тапки прошлёпали по коридору, обошли табурет носком, по ножке, и встали на пороге уборной.

Секунд пять там ничего не говорили. Бачок за это время отмерил своё.

— Я его не носила, — сказала Нина.

— Витя?

— Я его первый раз вижу.

Ладонь матери сошла с подлокотника, прошла по табуретке за тарелкой, нашла блюдце, подняла его и положила рядом вверх дном, и остановилась на стакане, не взяв его.

— Я его утром трогала, — сказала она. — Я утром руку в коробку опускала и его там держала. Я его точно держала, он у меня под тремя пуговицами лежал, которые с пальто.

— Мама, может, вчера.

— Я вчера в шкаф не ходила.

Бачок отсчитал по наружной стенке три капли в тряпку.

— Он тут в мокром кольце, — сказал Виктор. — Он тут не минуту стоит.

— Так опиши мне его. Не трогай, опиши.

— Медный сверху, протёртый. По боку точки. В одной точке нитка, белая, обрезана коротко.

Рука её осталась раскрытой на подлокотнике, и большой палец пошёл по воздуху: по верху, по точкам, по нитке. И пошёл второй раз, по тем же точкам, в том же порядке.

— Это он, — сказала Мария Петровна. — Оставь его на полке, где лежит. Нина, и ты не бери. — Пальцы сомкнулись на пустоте. — А теперь мне кто-нибудь скажет, как он туда дошёл.

Сергей входит без подарка

Прокладка лежала в сумке с продуктами, в бумажном пакете с чеком, и пакет промок с угла, потому что рядом потекла пачка кефира.

— Открывай, Нина, это я.

Замок дал два поворота. Дверь пошла, задела обувную полку и встала.

На площадке — рабочая куртка, застёгнутая до горла, две сумки у ног: клеёнчатая и пакет из «Магнита», раздутый и провисший снизу.

— Один раз звонил, — сказала Нина. — Я сразу пошла.

— Я один раз и нажал.

Сумки вошли первыми. Клеёнчатая встала у табурета, пакет — на обувную полку, в то сухое пятно с жёсткими краями, которое натекло с утренней куртки Виктора и успело высохнуть.

— Он протекает, — сказал Сергей. — Снизу. Там кефир.

— Я разберу.

— Ты сначала на пол посмотри.

Под пакетом по линолеуму шла белая полоса, и у плинтуса она собралась в мелкую лужицу с кислым запахом.

С кухни потянуло тёплым — суп стоял на выключенной плите второй час, и к нему примешался лавровый лист.

— Я вошёл! — в сторону комнаты, громко, на весь коридор. — Мама, это я, Серёжа. Я вошёл.

В комнате радиатор держал свою ноту.

Половица у двери в комнату отозвалась под Ниной.

— Она не спит, — сказала она. — Она капли в двадцать приняла и сидит.

— Я слышу, что не спит.

Куртка пошла с плеч — с мокрого ворота на линолеум натекло четыре капли — и повисла на третьем гвозде, рядом с Витиной, подолом к подолу. От неё пошёл запах холодного железа и бензина, и этот запах встал в коридоре поверх кефира.

— Мама, — уже с порога комнаты. — Это Серёжа.

Мария Петровна сидела в кресле, обе ладони на подлокотниках, пальцами вниз по изгибу дерева. Голова её повернулась к двери на четверть и остановилась.

Губы не разошлись.

Виктор поднялся от стола. Половица под ним дала низкий стон, и стекло в серванте тонко отозвалось.

— Приехал.

— Приехал.

Братья стояли в двух шагах друг от друга. Правая рука Сергея поднялась и пошла вперёд, Виктор подал свою, и ладони сошлись — у Сергея подушечки были в чёрной насечке по линиям, несмываемой, и кромка большого ногтя срезана наискось, и от этой руки по чужой ладони осталась на минуту сухая холодная плёнка.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.